текст



Конни Палмен

Наследие

Книга о ненаписанной книге



Наследие: Книга о ненаписанной книге

Конни Палмен

Аннотация
Конни Палмен. Наследие
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Аннотация

Конни Палмен (р. 1955 г.) — известная нидерландская писательница, лауреат премии «Лучший европейский роман». Она принадлежит к поколению молодых авторов, дебют которых принес им литературную известность в последние годы. В центре ее повести «Наследие» (1999) — сложные взаимоотношения смертельно больной писательницы и молодого человека, ее секретаря и духовного наследника, которому предстоит написать задуманную ею при жизни книгу.

На русском языке издается впервые.

Конни Палмен
Наследие

В моей речи на похоронах Лотты Инден я рассказал о том, как она предложила мне эту работу.

«На вежливость и хорошие манеры у меня слишком мало времени, поэтому заранее прости мне мою грубость. — То, что было произнесено потом, я опустил. — И если тебе это не по нраву, то лучше уходи сразу».

Позже один из ее братьев признался мне, что ей всегда не хватало времени — единственной вещи в ее жизни, с которой она была бережлива, и что он с детства помнит ее именно такой.

«Мое время — это моя жизнь», — говорила она.

Нечто похожее я находил потом и в ее бумагах. Во всем остальном ее никак нельзя было назвать экономной. Я не встречал более щедрых людей, чем она и ее друзья. Когда однажды я спросил у нее, откуда такая широта души, она ответила, что это логично, что жадные люди не могут быть хорошими писателями и по тому, как человек обращается с деньгами и вещами, можно судить о его щедрости на любовь, идеи, восхищение, дружбу и тому подобное нематериальное.

«Нематериальное — это оборотная сторона слов, — говорила она, — а писать — значит отдавать, не больше и не меньше». Не всегда понимая,

что именно она имеет в виду, я переспрашивал. Как правило, она охотно разъясняла все в мельчайших подробностях, но, когда боли усилились, предпочитала отсылать меня за ответами к своим бумагам и просила оставить ее в покое, жалуясь на усталость. В заключение она добавляла: «Смотри на…» — и далее следовало уточнение: на «*деньги*», «*слова*», «*дружбу*» — то, к чему имел отношение наш разговор.

Пять лет назад она предложила мне работу на двадцать четыре часа в сутки, питание и жилье. Перебравшись в ее дом на канале, я первым делом занялся установкой переговорных устройств, сигнализации и прочих хитроумных электрических приспособлений, с помощью которых она при необходимости могла со мной связаться. Она дала мне пейджер и мобильный телефон, чтобы иметь возможность вызвать меня в любое время дня и ночи, где бы и с кем бы я ни находился. Кое-кто из моих друзей забеспокоился: осознаю ли я все последствия, устраиваясь к ней на работу. Не помню, насколько ясно я их осознавал, скорее не воспринимал это как работу. К такому повороту в моей жизни я стремился давно и был счастлив. В некотором смысле самое заветное мое желание (над ним всегда издевались окружающие, в особенности мой отец, считая его смехотворным и несбыточным) все же осуществилось. На вопрос, кем я хочу стать, я давал сначала наивный, а позднее упрямый ответ униженного ребенка: читателем. Никогда прежде я не был так близок к этой мечте, как в годы, последовавшие за моим переездом к Лотте.

Впервые я встретил ее в издательстве, где работал внештатным редактором в отделе научной литературы. Я был тридцатилетним, не удовлетворенным жизнью специалистом по нидерландской литературе. Она сотрудничала с другим издательством, но одновременно писала эссе о двадцатом веке для одного из наших сборников. Большинство авторов этого сборника собрались тем летним утром в зале заседаний, а я разносил им кофе. Открытые окна не спасали от духоты. Потом она рассказывала, что ей бросились в глаза длинные рукава моего свитера и она сразу задала себе вопрос — почему. В тот момент, когда, стоя справа от нее, я взял чашку с подноса и наклонился, чтобы поставить перед ней, правый рукав моего свитера слегка задрался. Резко вскинув голову, она посмотрела на меня.

«Тебе надо уйти от этого мужчины», — сказала она.

Заметив мое смущение, она улыбнулась и положила руку мне на плечо.

Лишь несколько недель спустя я попросил у нее объяснения. Ведь я не похож на человека, по виду которого можно с уверенностью судить о его сексуальной ориентации, — по крайней мере, так мне казалось. Она ответила не сразу, посмотрев на меня с легкой усмешкой.

«Никогда не читал Шерлока Холмса?»

«Нет».

«И я нет. Только по телевизору видела», — сказала она, рассмеявшись, громко и заразительно.

«Женщины кусаются и царапаются. Но лишь мужчины оставляют в плоти отпечатки своих пальцев», — сказала она.

В то время я был уже достаточно опытен, чтобы по той интонации, с которой она закончила фразу, понять, что она не видит смысла продолжать эту тему.

Каким бы старательным учеником я ни был и как бы тщательно она ни готовила меня к моей будущей миссии, я знал, что я не писатель. Конечно же, в юности, как всякого заядлого читателя, меня мучило желание овладеть тем, что приносит счастье и душевное спокойствие. Но вскоре я понял, что душевное спокойствие — это и есть мое и что я никогда не буду творцом, просто не имею необходимых для этого качеств. Проведенные рядом с ней годы помогли мне разобраться в том, чего мне не хватало или чего, напротив, во мне было слишком много.

«Слава Богу, ты втайне не мечтаешь стать писателем и не надеешься, что я тебе помогу, потому что я не в состоянии этого сделать», — сказала она как-то в начале нашего знакомства. Я ответил тогда, что ей нечего бояться: я читатель и не собираюсь менять своего призвания.

«Ну и хорошо», — успокоилась она, добавив, что считала важным рассказать мне побольше о писательстве и что для нее было бы невыносимым чувство причиняемой мне при этом боли.

В издательстве ей назвали мою фамилию, номер домашнего телефона, и на следующий день после собрания она мне позвонила.

Представившись и объяснив, каким образом меня нашла, она без лишних церемоний спросила, доволен ли я своей работой и своей жизнью.

«Нет», — ответил я.

На вопрос (заданный, как мне показалось, с некоторой долей застенчивости), знаком ли я с ее творчеством, нет, люблю ли я ее творчество, она получила утвердительный ответ и в тот же вечер пригласила меня к себе к восьми часам. Она сказала, что готова предложить мне новую жизнь и дать, возможно, несколько странное поручение. Продиктовав адрес, она повесила трубку.

Ровно в восемь я позвонил к ней в дверь. Широко улыбаясь, она стояла в дверном проеме. Эта улыбка, по ее словам, была вызвана моей пунктуальностью. Появись я на пять минут позже, она бы сочла это плохим предзнаменованием. Она рассказала мне о своей болезни и о том, что от меня требовалось. Мы проговорили несколько часов, и, лишь поздно ночью вернувшись домой, я понял, почему это было для нее так важно.

На наше знакомство друг с другом она выделила месяц, в течение которого мы проделали все то, что нам предстояло в ближайшие годы. В первую неделю мы съездили в Бретань, где на холме стоит ее дом с видом на океан. На обратном пути она несколько часов подряд вела машину в полном молчании, явно наслаждаясь скоростью и музыкой популярных радиостанций. «Вести машину — одна из самых приятных форм ничегонеделания», — сказала она перед выездом. После второй или третьей остановки она, не предупредив, что теперь моя очередь садиться за руль, перебралась в пассажирское кресло, запрокинула голову и закрыла глаза. Обычно, когда меня подвергают испытаниям, я становлюсь страшно упрямым, брюзгливым, несчастным и, наконец, просто неловким. Не знаю почему, но ее присутствие действовало на меня успокаивающе. Я представил себе наше будущее, в котором она все сильнее будет зависеть от меня и в котором уже не будет способна на то, что сейчас проделывала с таким энтузиазмом.

Спустя месяц она сказала, что я ей нравлюсь и ей приятна моя компания, что она считает меня умным, милым, привлекательным и тому подобное и восхищается тем, с какой легкостью я

нахожу общий язык с людьми, которым она меня представляет. Она заметила также, что слишком горда, чтобы спрашивать, приятна ли ее компания мне, и что я совершенно не обязан ее любить, ведь в конце концов она платит мне за то, чтобы я ее терпел. Она спросила меня, возьмусь ли я за эту работу, и сморщила лоб в напряженном ожидании ответа на свой вопрос.

Я сказал ей, что ничего на свете не желаю сильнее, чем жить здесь, в ее доме, и делать все, чего она от меня ждет, но меня волнует лишь одно. За прошедший месяц я продемонстрировал все свои умения: готовил, водил машину, поднимал и носил ее на руках по лестнице (для тренировки), изучил ее контракты и счета, разговаривал с врачом о ее болезни. Я не боялся ничего, за исключением собственно того, чего она от меня хотела и о чем с момента моего первого посещения больше ни разу не заговаривала.

«Если ты можешь иметь дело со мной, то сможешь и это, — сказала она уверенно. — Обращаться со мной сложнее, чем с моими словами».

Теперь, когда я собрался начать новую жизнь у нее на службе, я решился спросить у нее о том, что всегда хотел знать: что же произошло тем летним днем, почему ее выбор пал на меня? Она

улыбнулась и слегка покраснела.

«Потому что я из тех женщин, которые оставляют в плоти отпечатки своих пальцев».

Она занимала два нижних этажа. На третий этаж, который должен был стать моим, вел отдельный вход. Просторный чердак служил складом для бумаг, которые она поначалу насмешливо называла своим наследием, однако это слово так прочно вошло в наш лексикон, что мы употребляли его без тени иронии. Только когда приходили гости, по их реакции мы понимали, что говорим что-то не то, — в самом деле, это, наверное, звучало странно, когда она рассказывала о наследии своей полувековой жизни, валявшемся где-то на чердаке.

Ко времени нашего знакомства о болезни Лотты знали, кроме меня, лишь ее издатель и некоторые из лучших друзей. Свою семью она собиралась поставить в известность только тогда, когда уже не сможет двигаться и скрывать недуг. Выбор между одиночеством тайны и обществом страшного знания давался ей тяжелее всего, потому что этим знанием она не хотела причинять боль другим людям.

«Тайна меняет меня, а знание — окружающих. — И она не знала, что лучше, — не для нее, а для других. — Сейчас это касается только других».

Я напомнил ей эссе, написанное ею для сборника, в котором она утверждала, что знание есть любовь, и сказал, что, сохраняя тайну, она лишает любимых людей права знать и тем самым лишает их любви.

«Представьте, что на вашем месте оказались бы ваши братья, — предположил я. — Хотели бы вы знать об этом с самого первого мгновения?»

Ее глаза наполнились ужасом; утвердительно кивнув, она заплакала. Такое случилось впервые, и я растерялся. Чтобы как-то подбодрить меня, она улыбнулась сквозь слезы, всхлипнула и сказала: «Смотри на “*семью*”».

Некоторое время спустя она пригласила в гости своих братьев. Приготовила ужин, привела себя в порядок, красиво оделась. И как я ни колебался, она настояла, чтобы я тоже был на этом вечере.

«Ты мне нужен, чтобы их успокоить».

Когда я первый раз пришел к ней, она сказала: «Во мне поселилась болезнь, которая медленно меня убивает. Ее нельзя ни остановить, ни вылечить никакими лекарствами. Сердце — это всего лишь мышца, и я скоро умру. Никто не знает когда, но врач говорит, что мне не стоит рассчитывать на десятилетия».

Такой тон, однако, не подходил для семейного круга. Братья и их жены сидели за столом и наслаждались ужином. Наконец за кофе с кальвадосом она коснулась этой темы. В самой непринужденной манере она рассказала о прогрессирующей мышечной болезни, избегая любого намека на возможный исход и лишь вскользь упомянув, что в ближайшие годы — неизвестно, когда это началось, — скорее всего, с трудом будет ходить; в остальном же проблем не возникнет, ведь она специально наняла меня своей сиделкой и секретарем. Она пошутила, что всегда втайне мечтала быть парализованной и свободной от необходимости ходить по магазинам, опускать письма в почтовый ящик, ездить на велосипеде, гулять и делать прочие телодвижения. Конечно, она будет скучать по танцам, писательству и автомобилю. Она попросила меня продемонстрировать, с какой легкостью я поднимаю ее со стула: это

действительно не составляло никакого труда, так как она не весила и пятидесяти килограммов. Но в тот вечер, когда я просунул левую руку под ее колени, а правой обхватил поясницу, она вдруг показалась мне налитой свинцом. Я спрятал лицо в выемке ее шеи, чтобы не видеть, как, подавленные и растерянные, ее братья пытаются подарить своей сестре иллюзию, что действительно верят в шараду, которую она для них разыграла.

Около полуночи она простилась с братьями и еще долго сидела у камина, глядя на тлеющий огонь. Всем своим видом она давала понять, что хочет побыть одна. Перед тем как подняться к себе, я принес ей бокал красного вина, но она не проронила ни слова и не отвела глаз от огня.

В ту ночь я впервые занялся тем, что должно было стать моей ежедневной работой в течение ближайших нескольких лет. Я отправился на чердак, взял с полки одну из черных папок на «С» и стал искать на «*семью*». Из оглавления на первой странице я выбрал строку «*братья*» — смотри: Сэлинджер, Дж. Д. «Фрэнни» и «Зуи». Из тонкого американского покетбука выпало пять аккуратно сложенных листов, исписанных вдоль и поперек.

«Братская любовь — это особая любовь, не сравнимая ни с чем. Ни одного своего друга я никогда не назову братом и никогда не испытаю к нему тех же чувств. Лишь не имеющие родных братьев пытаются превратить в них своих друзей и любимых, думая, что так проще; но те, у кого братья есть, знают, что все не так. И никто не постиг эту любовь лучше Сэлинджера, который был единственным ребенком в семье.

Представляю, как его любили родители.

В начале жизни мы, скорее всего, не можем любить иначе, чем так, как любят нас. Иногда потом всю жизнь приходится от этого отучаться, чтобы любовь не причиняла нам столько боли. Первый такой урок я получила в шестнадцать лет от классной руководительницы Тима.

Мне было уже десять, но я не замечала, что мама беременна. Внезапно она уехала и легла в городскую больницу. «У вас появился братик», — сказал мой отец, сияя. Стоя на кухне у мойки, он держал руку под струей воды, проверяя температуру. Намылив мочалку, он позвал моего старшего брата. Мы уже давно умели мыться самостоятельно, но никто не осмеливался ему об этом сказать. К тому же он мыл нам уши, о которых мы всегда забывали. В его руках даже мочалка могла быть приятной. Он попросил нас одеться во все лучшее — для нашей мамы, которой сейчас было нелегко; мы ведь знали, как она любила, когда мы опрятно выглядели. В своей комнате я достала белую рубашку и несколько раз подряд сглотнула слюну, прижавшись носом к ткани и вдыхая запах выстиранной, накрахмаленной и выглаженной матерью вещи.

У Тимми была большая красная голова, а у мамы синие мешки под глазами. Мы вели себя так, словно ничего не замечали, сюсюкались с малышом, по очереди гладили указательными пальцами его крошечные, прозрачные ручки, и весело болтали с матерью.

На обратном пути отец сказал нам, что мама совсем не спит в этой палате, в компании хи-

хикающих молодых девиц, тараторящих ночи напролет. Я понятия не имела, сколько маме лет, но заметила, что она действительно выглядела старше других женщин.

Вернувшись домой с малышом на руках, она плакала.

В 1963 году еще не знали о послеродовой депрессии. По крайней мере, никто из наших соседей ничего подобного не испытывал. Родив ребенка, вы должны были светиться от счастья — другого выбора просто не было. Врач прописал ей таблетки, не объяснив при этом, зачем и для чего. Он лишь посоветовал принимать их каждый день в одно и то же время, пока не кончится вся пачка, затем сделать семидневный перерыв и приступить к следующей. Только по прошествии нескольких лет она узнала, что первой в округе начала глотать контрацептивы. Врач не предупредил ее, что от этих таблеток можно растолстеть и впасть в глубокое уныние. Уверена, он и сам об этом ничего не знал, и, спроси вы его, действительно ли эти таблетки могут нагнать тоску, он рассмеялся бы вам в лицо, утверждая, что это совершенно исключено и что в такой маленькой пилюле не может быть никакой тоски. Тогда, по-моему, они еще не имели ни малейшего представления о

гормонах и тому подобных вещах.

Из красноголового, лысого, девятифунтового малыша Тимми очень быстро превратился в удивительно красивого, хрупкого, милого и немного боязливого ребенка.

Я ни на секунду не упускала его из виду, во всем ему помогала, думая, что таким образом действую во благо.

В тот день, когда мама отвела его в детский сад и ни словом не обмолвилась о том, как он рыдал, оставаясь там, я в школе побила свой личный рекорд по штрафным работам на каждом уроке. После обеда я даже не могла поиграть с Тимми, потому что должна была пятьдесят раз переписать десять химических формул, заполнить три тетрадных листка фразой из романа XVIII века («Mettez votre bonheur à les aider, comme elle l'y avait mis elle-même»)[1] и вывести на трех листах положительное или отрицательное бухгалтерское сальдо. Это было несложно. Мне нравилось писать штрафные работы — они меня успокаивали.

---

[1] Примечания: 1

Употребите свое благополучие им в помощь, подобно тому, как это сделала она (*фр.*). — *Здесь и далее примеч. переводчика.*

С тех пор как Тимми пошел в первый класс, я стала сама не своя. Начальная школа находилась на одной территории со средней, и Тимми был слишком близко, чтобы не думать о его существовании. Детский плач, доносившийся издалека, заставлял меня тревожиться, что это плачет наш Тимми, и я уже не могла сосредоточиться на чем-то еще. На переменах я пролезала сквозь кусты, разделяющие школьные здания, чтобы пробраться туда, где учился Тимми. Первый класс располагался в боковом крыле величественного старинного здания, в светлом помещении с продолговатыми оконными проемами, разделенными на маленькие стеклянные окошечки. Дважды в день я стояла, прижавшись носом к оконному стеклу, и успокаивалась лишь тогда, когда отыскивала среди других детей светловолосую голову Тимми. Он не плакал, а рисовал что-то в альбоме, читал книгу или играл с одноклассниками. Однажды я увидела, как весь класс разбился на группы, и только наш Тимми сидел за столом один, всеми забытый. Мое сердце разрывалось от жалости, и больше всего на свете мне хотелось ворваться в класс и разделить его одиночество, но я должна была бежать на французский.

Нашим учителем был мягкий, галантный и

романтичный человек. Он ставил нам «Умирающего» Жака Бреля и «Судьбу» Лео Ферре, а также «Нет, нет, ничего не изменится» группы «Поппис», потому что «Поппис» были нашими современниками, такими же молодыми и веселыми. Мы замечали, как трудно ему быть строгим или наказывать нас.

«Mademoiselle Inden, qu'est-ce qu'il y a?»[2] — спросил он через несколько минут после начала урока. Поскольку мы должны были говорить только по-французски, я ответила: «Rien»[3].

«C'est rien, monsieur»[4].

«C'est rien, monsieur», — повторила я, чуть не плача, потому что не выносила, когда кто-то, не важно кто, меня критиковал. Он замолчал на мгновение, а затем сказал по-французски, что я плохая лгунья — мои глаза выдают меня. Перед такой мягкостью я пасовала еще больше, чем перед критикой или наказанием. Слеза сама собой покатилась по моей щеке, и я боялась ее смахнуть, дабы не привлекать к себе излишнего

---

[2] Примечания: 2
Мадемуазель Инден, что случилось? (*фр.*).

[3] Примечания: 3
Ничего (*фр.*).

[4] Примечания: 4
Ничего, месье (*фр.*).

внимания. Впрочем, было уже поздно, потому что учитель подозвал меня к себе, открыл дверь в холл и выпустил из класса. Он положил руку мне на плечо, желая утешить, но мне было так больно, что даже на родном голландском я не могла рассказать ему о случившемся.

Да и что я могла ему объяснить? Что наш Тимми сидел там один-одинешенек и это было невыносимо? Или то, что мысль о каждой секунде горя, одиночества, страдания, боли, слабости и прочих бед в судьбе моих родителей и братьев была для меня нестерпимой и, обладай я такой властью, я бы жизнь отдала, чтобы облегчить их участь?

Сэлинджера когда-то упрекнули в том, что он изобразил семью Гласс слишком уж хорошей, милой и даже приторной, а братьев и сестру чересчур добрыми и заботливыми. Критик, который написал такое, не имеет ни малейшего понятия о том, как устроены многие семьи, ни малейшего.

«Too cute»[5] — не смешите меня.

[5] Примечания: 5
Слишком милая (*англ.*).

Классная руководительница Тимми уже, конечно, давно догадалась, что я его сестра. Очевидно, она внимательно следила за мной и различала, когда я второпях заглядывала в окно во время коротких перемен, а когда у меня, наоборот, было больше времени — обычно я была свободна по четвергам во второй половине дня. Она дождалась очередного четверга и помахала мне из класса, приглашая войти.

Я чуть не сгорела от стыда.

Мне было шестнадцать, но характер и откуда-то появившаяся угловатость не позволяли дать больше двенадцати. Залившись краской, я стояла перед детьми шести-семи лет и не знала, что делать. Учительница представила меня как Шарлотту Инден, сестру Тимми, и сказала, что я пришла помочь им немного на уроке труда. Она попросила детей продолжать прерванные моим появлением занятия, и они тут же подчинились. Отведя меня в сторону, она тихим голосом заговорила со мной. По ее лицу было видно, с каким старанием и тщательностью эта милая женщина подбирает слова, чтобы меня не обидеть.

Она сказала, что наблюдала за мной и понимает, почему я каждый день прихожу посмотреть на брата. Однако, невзирая на искренность моих

намерений, такая чрезмерная опека, наверно, не идет на пользу Тимми, а только мешает становлению его характера и самоутверждению. Помочь ему обрести уверенность в себе можно, но только другим способом — предоставив ему больше самостоятельности.

«Две мамы — это многовато», — произнесла она мягко, и эта фраза навсегда застряла в моей голове.

Мне вдруг стало ужасно страшно от ее правоты.

Как я смотрю на то, продолжала она, чтобы вместо ежедневных наблюдений за Тимми приходить в класс один раз в неделю, по четвергам, вплоть до летних каникул, и помогать детям клеить и вырезать. Само собой, я должна буду уделять внимание не только Тимми, но и остальным детям, как настоящая учительница.

Я согласилась. Много недель подряд по четвергам я приходила после уроков в начальную школу и одаривала своим вниманием каждого ребенка — всех, кроме моего родного, милого Тимми. Я следила за ним краешком глаза, но делала вид, что не замечаю его.

Под текстом стояло число: 11 октября 1988 года. Я сложил листочки и сунул их обратно в книжку Сэлинджера. Какое-то время я не мог уснуть. Я был слишком взволнован тем, что ожидало меня в ближайшие годы.

Врач посоветовал ей много путешествовать и делать все, что нравится, — рассказывала она в тот день, когда я впервые пришел к ней и она излагала мне мои будущие обязанности.

«Если врачи заводят с вами речь о путешествиях, вы понимаете, насколько все плохо», — сказала она.

У нее, однако, не было ни малейшего желания разъезжать по миру и набираться новых впечатлений, она еще до конца не справилась со своим прошлым, важнее которого, казалось, не было ничего.

«Мне повезло — я рано обрела свое счастье, — сказала она. — Я знала, что для меня оно не в движении, а в покое и что я ничем другим не хочу заниматься, только читать, размышлять и писать».

Книга, которую нам предстояло сочинить, была ее давней мечтой; она уже не помнила, когда впервые зародилась эта идея, но уж точно более пятнадцати лет назад, и все эти годы она втайне радовалась тому, что впереди — большой и нелегкий труд.

«Корни этой идеи уходят в первую книгу Марка Аврелия «Размышления», — рассказывала она. — Перед тем как приступить к книге, Марк Аврелий

называет имена тех, кому он обязан некоторыми чертами своего характера, воззрениями, взглядами на жизнь. Среди тех, кто сформировал его личность, он называет отца, мать, деда, прадеда, друзей, учителей и прочих. Это выглядит примерно так: тому-то я обязан тем-то, или благодаря тому-то я прочел книгу такого-то философа; такой-то помог мне понять, почему не нужно слушать сплетни; у того-то я научился справляться с острой болью, которая появилась после смерти моего сына; а кто-то другой был для меня живым примером того, как ценно при любых обстоятельствах сохранять чувство юмора, и так далее. Грандиозно. Не столько форма, сколько сама идея выражения благодарности поразила меня несказанно. Это признание своего долга. Благодарить можно только тогда, когда осознаешь, чтО ты получил».

Она снова наполнила бокалы, закурила и какое-то время сидела молча. Не думаю, что в тот момент я четко представлял себе книгу, которую она задумала.

«Поразительно, какой короткий у него получился список, — продолжала она тихим голосом. — Ведь до нашей эры и в первые века нынешнего тысячелетия охватить взглядом все

источники знания было еще достаточно просто».

«Семья, несколько учителей и горстка книг», — подытожил я.

Она посмотрела на меня и спросила, помню ли я, когда, как, чему и у кого учился. Я удивился тому, сколько образов тут же зароилось в голове, но не осмелился ответить утвердительно, пока не зацепился за одно воспоминание.

«Да», — сказал я и добавил извиняющимся тоном, что воспоминание это какое-то глупое.

«Глупых воспоминаний не бывает», — отрезала она.

Я отчетливо вспомнил, как мне впервые удалось завязать собственные шнурки. Мой отец со все нараставшим нетерпением помогал мне каждый день, однако для меня шнурочное сплетение оставалось загадкой, и я думал, что никогда не смогу сотворить столь же красивый и замысловатый узел.

Она предположила, что я наверняка должен помнить, где мы с отцом в тот момент находились, что на мне было надето, какой от него исходил запах и как он на меня смотрел, когда мне удалось наконец завязать шнурки. И то победное чувство, которое я тогда испытал, должно было где-то во мне сохраниться, и я без труда

смогу вытащить его наружу.

«Да, — подтвердил я. — Это так».

Еще точно не зная, чего она от меня ждала, я решил, что буду делать все возможное, чтобы как можно больше времени проводить в ее обществе.

По утрам она предпочитала одиночество. Мы договорились, что, если она захочет разделить со мной компанию за завтраком, она позвонит до девяти часов, однако в первые годы нашей совместной жизни такого, как правило, не случалось, и я встречался с ней лишь около трех пополудни. В первой половине дня она работала над своим последним романом «Всецело ваш», зачитывая мне по вечерам отдельные главы. В них, по ее словам, она пыталась разобраться в особенностях двадцатого века на примере вымышленной автобиографии некоего поклонника.

«Начиная с двадцатых годов нынешнего столетия, — говорила она, — средства массовой информации изменили наше представление об окружающей действительности. И конечно, главное изменение — то, как мы сами себя обманываем. Все мы испытываем восхищение перед кем-то, с кем никогда в жизни лично не встречались, — это и есть двадцатый век. Мы знаем все об их жизни, о том, как они ходят и говорят, мы живем рядом с ними, но никак не соприкасаемся. Все мы — публика, наблюдающая за кем-то, кто в той или иной степени принадлежит к миру фантазий».

Я проводил утренние часы за разбором ее почты, счетов, а также занимался тем, что трудно описать одним словом — между собой мы называли это «дистилляцией». Имелась в виду дистилляция книг, на пустых страницах, полях или внутренней стороне обложки которых размещались ее записи. Часто это было всего одно слово, которое подытоживало содержание отдельного абзаца. «*Сочувствие*», «*любовь*», «*самобытность*», «*семья*», «*саморазрушение*», «*писательство*» и так далее. Помимо названия, месяца и года, в котором книга была прочитана, я должен был переписывать ключевые слова и те пассажи, к которым они относились.

«Неизбежно настанет день, когда я больше не смогу достать из шкафа книгу и держать ее в руках». Она надеялась с помощью компьютера сохранить доступ к своему наследию.

После той ночи, когда я читал «*братьев*», я не мог дождаться трех часов, чтобы поделиться с ней своими впечатлениями и сказать, что теперь я лучше представляю ткань ее будущей книги. Однако около полудня она позвонила, попросила перепечатать рукописный текст, который она передаст по факсу, и переслать его в журнал, после чего я мог быть свободен, а она отправлялась навестить друзей. Голос ее звучал прохладно и отстраненно, и я удивился внезапно налетевшей на меня грусти.

Не прошло и пяти минут после нашего разговора, как затрещал факс и я получил статью, написанную ею по заказу одного иностранного журнала для ежемесячной рубрики, в которой разные люди рассказывали о том, что они любят и чего не любят. То, что я прочитал, развеяло мою печаль, и я, улыбаясь, принялся набирать текст на компьютере. Вверху неразборчивым почерком было написано для меня: «Дорогой Макс Петзлер, вот так это выглядит. Ни о чем не беспокойся. До завтра, твоя угасшая звезда».

«Я люблю селедку, но она не должна быть слишком холодной или слишком теплой. Бывают дни, когда я вообще не выношу селедки, даже если она не слишком холодная и не слишком теплая, и я не знаю, почему в эти дни селедка мне не по вкусу.

То же происходит и с другими любимыми мною вещами, когда вдруг по каким-то необъяснимым причинам я перестаю их любить.

Я страшно люблю все плохое. Я люблю много пить, курить, долго и быстро водить машину и иногда очень люблю падать, особенно после того, как, обернувшись, увижу, что кто-то сможет меня поймать. Но что я не люблю, так это пьянство, рак, несчастные случаи со смертельным исходом и дырки в голове.

Очень люблю сильно кого-то любить и размышлять обо всех этих разных Любовях: к одному-единственному, к нескольким сразу, к семье и друзьям, к тем, кто уходит, и тем, кто остается, к еде и напиткам, к знанию и писательству, к тому вечному ожиданию разгадки, почему же я иногда не люблю все то, что так люблю».

Дело в том, что я так и не рассказал ей о той первой встрече с ее наследием, после которой уже ничем другим заниматься не мог. По ходу разговора что-то заставляло меня отыскивать в черных папках или в библиотеке все о том предмете, который мы обсуждали. Я читал и запоминал, где я это нашел.

«Без памяти нет писателя», — как-то сказала она.

Ее память меня поражала. Она точно знала, в какой книге автор уделял внимание тому, что ее волновало.

«Завтра тебе предстоит продистиллировать дневник Гомбровича[6], — говорила она. — Хочу обменяться с ним мыслями о молодежи». Или же ей необходима была «Жюстина» Даррелла[7], которая, по ее словам, проявляла близкое сходство с одним из героев ее собственной книги.

«Я не знаю дословно, что там написано. Но я знаю, что там это есть», — ответила она, когда я выразил свое изумление по поводу ее феноменальных способностей. «Все это могут, и ты тоже.

---

[6] Примечания: 6

Witold Gombrowicz (1904–1969), польский писатель. Имеется в виду «Дневник. 1953–1966».

[7] Примечания: 7

Lawrence George Durrell (род. 1912), английский писатель и поэт.

У всех есть память, просто большинство людей не помнит, откуда у них те или иные знания. Наша с тобой книга и об этом тоже».

Я был ее секретарем или «личным секретарем», как она меня называла, и должен был следить за тем, чтобы ее воспоминания оставались для нее доступными.

Без тени печали она признавалась, что не может угнаться за действительностью. Она всегда мечтала начать свой роман со смерти главного героя, семья которого наследует библиотеку. Очень скоро семья обнаруживает, что почти все книги переложены личными документами, письмами, набросками к романам, ссылками на литературные произведения, которые дают толчок новым идеям и позволяют иначе объяснить уже существующие. Страницы других книг испещрены черновыми записями, в которых прослеживается связь между этими книгами, а также популярными песнями, фильмами и телевизионными программами и той книгой, над которой главный герой работал при жизни.

«Я действительно мегаломанная клуша, для которой нет в жизни большего удовольствия, чем сидеть в библиотеке и писать историю двадцатого века, — смеялась она, — и честно признаться, в глубине души мне до сих пор этого хочется. Обрати внимание, что я говорю не об истории вообще, а о совершенно конкретной истории, ведь я не сумасшедшая».

Я спросил ее, что это за конкретная история.

Широким жестом она указала на книжный шкаф, стоящий внизу в гостиной.

«История о том, что знают люди в наше время, о том, что их трогает и что на них воздействует. Ведь на все есть свои причины. Ты не представляешь, как мне нравится заниматься этим бесстыдным анимизмом. Иногда мне кажется, — продолжала она доверительно, — что я слышу, как в шкафу шелестят книги, как великодушно они дают советы друг другу и подолгу беседуют. От оживления они раскачиваются и с наслаждением припадают к своим соседкам. Умы при соприкосновении оттачиваются», — заключила она.

«То есть никто не поет свою собственную песню?»

«Да нет же, — ответила она пылко, — нет, каждый поет собственную песнь. Отвергать идею самобытности так же глупо, как объявлять Бога смертным. Если бы все было так просто. Нельзя отказываться от самобытности только потому, что это понятие уже не то, каким было одно-два столетия назад, и что в нем уже нет ничего романтического, — это слишком упрощенный, я бы даже сказала, детский подход. Самое прекрасное в процессе взросления — это способность преодолевать все большие сложности. Никого нет радикальнее и ущербнее, чем подросток

или юнец. Отвратительно. Мне до смерти стыдно, когда я вспоминаю те дерзости, которые я высказывала до того, как повзрослела, — такие экстремистские, такие глупые. Радикализм — это невозможность противостоять переменам и расширять свои знания. Ведь свет, например, уже далеко не то явление, каким оно было до открытия электричества. И это нормально. Более того, это заслуживает нашего радостного одобрения. Многосложность нашей жизни зависит от времени, в котором мы живем и которое проживаем. С возрастом мы развиваем в себе смелость быть самобытными и исключительными. Вовсе не нужно жить так, как все. Когда мы молоды, мы не рискуем выделяться и оставаться наедине с собой. Возможно, просто еще не можем. Нам необходимо участвовать, присматриваться, подражать, пробовать, принадлежать. В молодости нам не хочется создавать трудности, это приходит позже, когда, к своему ужасу, мы обнаруживаем к этому талант и в один прекрасный день делаем страшное и волнующее открытие, что впервые имеем о чем-то собственное мнение, почти всегда неправильное».

«Но разве большинство людей не верит, что все, чем заняты их мысли, они придумали сами?»

«Боюсь, что так. Очевидно, наша душа обладает каким-то защитным механизмом, который дарит нам эту иллюзию, и потому даже самый отъявленный подонок мыслит себя Богом».

«Ну а ты, конечно, хотела бы, чтобы подонок знал, что он подонок», — усмехнулся я.

«О да, — ответила она весело, — I'm a sucker for reality»[8].

От радости она опустилась на колени, и мы долго смеялись, расслабленные и утомленные.

Перед тем как пойти спать, она еще раз вернулась к нашей будущей книге, пояснив, что все, о чем говорили, для романа годится, но представляется ей жестокой, да, отвратительной реальностью.

«Такое наследие я не хочу оставлять никому», — сказала она.

---

[8] Примечания: 8
Я упиваюсь действительностью (*англ.*).

Она никогда не просила хранить в тайне наши отношения, но я обходил молчанием свою жизнь с Лоттой Инден. Вопросы друзей о том, что между нами происходит, меня раздражали, а их любопытство казалось мне неприличным. Единственным человеком, с которым я мог говорить о ней, была Маргарета Бюссет, давняя подруга моих родителей. Я знал ее с детства и ребенком часто воображал ее своей настоящей матерью. Из нашего окружения она одна осмеливалась откровенно общаться с моим отцом и говорить всю правду ему в лицо. Они были сокурсниками по медицинскому факультету университета и знали друг друга с ранней юности. После окончания курса они работали каждый по своей специальности (Маргарета — психиатром, отец — гинекологом), и отец перенял практику ее отца; и, поскольку она жила одна и не собиралась обзаводиться семьей, мои родители переехали в ее дом — туда же, где находился кабинет, а Маргарета купила дом поменьше на той же улице. Она всегда умело и с большим преимуществом выигрывала споры с отцом, в которые он умудрялся вступать со всеми, кто не был его пациентом. Ребенком я дрожал от страха и бессилия, когда Маргарета осыпала его ругательствами или обзывала жалким шутом и

с насмешливым «До завтра, бестолочь» покидала наш дом.

Никогда в детстве, да и в дальнейшем я не слышал более грубых выражений, произносимых таким надменным тоном.

Маргарета сочувствовала мне. Слабое здоровье моей матери заставляло родителей по нескольку раз в год совершать короткие, а иногда и долгие поездки за границу, во время которых я жил у Маргареты. Летом мы втроем отправлялись в наш загородный домик в Швейцарии, и я помню, что скучал там смертельно. В то время, как мама неумело пыталась меня развеселить, я тосковал по Маргарете.

«Я не гожусь на роль матери, — призналась она, когда я уже стал постарше. — А твоя мать и того меньше. У нее в жизни есть только твой отец, которому она постоянно старается угодить. Она думает, что до сих пор влюблена в него так, как во время первого свидания, а твой отец, падкий на лесть, с удовольствием в это верит. Но то, что он принимает за любовь, на самом деле скрытый страх. Так же как и все остальные, кого я знаю, твоя мать втайне его боится. Есть люди, которые любят других только тогда, когда им плохо, и твой отец, к сожалению, один из них. Поэтому

твоя мать не очень-то торопится излечиться от своих болезней. И если ты спросишь меня, то я отвечу — нет. Нет, я никогда не любила твоего отца, потому что ни секунды его не боялась».

От Маргареты я унаследовал страсть к чтению. В своем величественном доме она жила с книгами и рассказывала мне о любимых писателях с таким восхищением, словно это были ее друзья. Первой книгой, которую она дала мне прочесть, был детский роман «Без семьи» Эктора Мало. Я одолел роман в два дня и зашел вернуть его Маргарете.

«Ты аккуратно обращался с книгой, — сказала она, с любовью осматривая ее, — впрочем, ничего другого я от тебя и не ожидала».

Положив книгу на стол, она жестом пригласила меня сесть: «Ну, рассказывай, что же ты прочитал?»

Воспоминания о Реми, старом Виталисе, умирающей обезьянке и счастливом конце были еще свежи, и я начал пересказывать ей содержание книги. Она ждала, пока я переведу дух.

«Макс, я не об этом, — сказала она спокойно. — Содержание мне известно. Я не спрашиваю, что там написано, я спрашиваю, что ты прочитал».

Только Маргарета могла произнести это таким

тоном, который не заставил меня тут же сжаться от неуверенности, страха и стыда. Отчасти поэтому лишь с этой женщиной я обсуждал свою жизнь с Лоттой Инден. Она же спросила меня как-то, не влюблен ли я в Лотту, и этот вопрос я не воспринял как оскорбление и не отверг с ходу эту мысль (еще до того, как начал дискутировать сам с собой) как нечто смехотворное и невозможное.

Трудно выразить в словах, какое наслаждение доставляли мне вечера, проведенные в доме на канале, когда Лотта говорила, а я слушал. Летом ли, зимой ли — она всегда разжигала камин и садилась как можно ближе к огню, так что, когда она поворачивалась, все лицо ее горело. Иногда она оставляла камин ради телевизора. Лишь спустя два года она позволила мне смотреть телевизор вместе с ней.

«Смотреть телевизор нужно в одиночестве или же с кем-то очень тебе близким», — считала она.

Только сидя рядом, я обнаружил, что в том, как она часами не сводила глаз с огня и как смотрела (тоже часами) телевизор, не было никакой разницы. Согласно ее странной логике, телевизор был хорошей альтернативой огню.

«У мерцающего экрана я, несомненно, узнала больше, чем глядя на огонь», — сказала она и призналась, что огонь никогда не заставлял ее краснеть, в то же время за часы, проведенные у телевизора, ей бывало стыдно. «Я пыталась разобраться в причинах моего стыда — смотри «*телевидение*», но, по-моему, безуспешно, потому что так и не смогла до конца избавиться от этого чувства. И чего тогда стоят все эти мысленные усилия, если они не облегчают жизнь?»

«Смотреть телевизор нужно в одиночестве или же с кем-то очень тебе близким, — читал я следующей ночью. — Нужно сильно любить того, кто сидит рядом, иначе это занятие теряет всякий смысл. Ты начинаешь много говорить, валять дурака и притворяться, будто вовсе и не собирался оставаться наедине с самим собой. Смотреть телевизор вместе — значит быть вместе и дарить друг другу это уединение и обособленность, чувствовать, как ваши души где-то заблудились или уснули, оставив вас на какое-то время одних. Телевизор налагает обет молчания.

Мысль о том, что все смотрят и видят одно и то же, конечно, иллюзия. Ты делишь с кем-то картинки, но не образы, которые они вызывают в твоей голове, — то в высшей степени индивидуальное, что зовется мышлением.

Лишь в кругу семьи и с ТТ я могла смотреть телевизор часами и не испытывать стыда. Я знала, что у него, так же как и у меня, рождаются при этом тысячи мыслей. Иногда он переключался с канала на канал, и тогда мы играли в игру: выдумка или реальность? Угадывать становилось все сложнее. Ладно еще американский президент, но даже Папа Римский Иоанн Павел II казался мне подчас профессиональным актером (разработать

в «*двадцатом веке*»).

Интересно, почему после вечерних передач, которые я смотрела в полном одиночестве, мне стыдно?

Один мой хороший друг непроизвольно ответил на этот вопрос, объясняя как-то, почему он так любит быть со своей семьей: «Иначе мне не от кого будет уединяться».

Сегодня, когда на дворе конец двадцатого века, мы владеем разнообразными средствами общения друг с другом. Однако это ведет к тому, что мы все больше и больше отдаляемся от реальности и от окружающих нас людей. Возможно, здесь и кроется причина моего стыда. Точно не знаю. Но в этом что-то есть».

Не представляя, какой эффект произведет мое замечание, я спросил ее как-то, что она собирается делать с ТТ. (ТТ — ее большая любовь — был юристом и известным автором детективных романов, он скоропостижно скончался несколько лет назад.) «В каком смысле?» — отозвалась она с таким нескрываемым раздражением, что я даже испугался. Я неуверенно оправдывался — ведь спросил ее об этом лишь потому, что упоминание о ТТ так часто встречается в ее записях и мне стало интересно, какие персонажи будут населять ее книгу, как она себе их представляет и как собирается их изображать.

«Об этом я еще не задумывалась. Вот когда начну писать, тогда посмотрим», — заметила она.

«Послушай, я не предполагал, что ты так рассердишься», — попытался я разрядить атмосферу, надеясь вызвать ее улыбку своим глупым замечанием, но и это не помогло.

«Для меня он ТТ, — сказала она, не отводя от меня гневного взгляда, — а для тебя — господин Таллич».

Она склонилась над книгой и больше уже не поднимала головы. Я вернулся к себе, и в этот вечер мы не обменялись друг с другом ни словом. На следующее утро она позвонила необычно рано

и извинилась за свое резкое поведение.

«Ты уже немножко ненавидишь меня?» — спросила она после того, как объяснила причины вчерашнего.

Я рассказал Маргарете о выходке Лотты, вызванной моим невинным вопросом.

«Да это же траур, — прошептала Маргарета, — самый настоящий траур. В ее персональной мифологии — и заметь, молодой человек, все мы, конечно же, отдаем должное этой мифологии — имя ее мужа приравнивается к Тому Единственному имени, которое ты не вправе произносить всуе. Оно стало для нее священным, и эта святость — в ее личной связи с этим именем. Повторяя придуманное ею ласкательное имя, ты совершаешь святотатство».

«Но она же везде его пишет», — защищался я.

«Без гласных, как JHWH[9]. Она, должно быть, его сильно любила. Это имя для нее свято. Как для верующего имя Бога. Поэтому она не может назвать его по-другому — каким-нибудь Харри, Хансом или Хенком».

Затем Маргарета спросила, какие именно доводы привела Лотта в свое оправдание.

«Литературные, — ответил я. — Она рассердилась, потому что своим вопросом я якобы дал ей понять, что она еще недостаточно готова к написанию книги. Так она действительно не знала,

---

[9] Примечания: 9
Сокращение от Jahweh (Jahwe) — Яхве.

какими будут ее персонажи. «Некоторые книги не нуждаются в персонажах, — сказала она, — по крайней мере, в общепринятых персонажах, то есть имеющих определенный возраст, цвет волос, животик, выпуклую грудь, характерную походку, а порой даже и намек на духовную жизнь».

«И дальше?»

«Смотри на “*персонажи*”».

«Мне определенно нравится эта стерва», — усмехнулась Маргарета.

На мое предложение она откликнулась вначале довольно вяло.

«Макс, я хочу упорядочить то, что уже есть, — сказала она, — мне не нужен дополнительный материал».

Я поклялся, что собираюсь использовать кассеты только в случае крайней необходимости, когда буду писать, а потом их уничтожу. «Возможно, одну я себе все-таки оставлю, — посмеивался я, — но ни в коем случае не больше, и только для того, чтобы слушать на ночь ваш сладкий голос».

«Но у тебя же такая хорошая память, ты в состоянии все запомнить, — умоляла она. — Насколько я знаю, писатели не работают с магнитофонами. Ты что, думаешь, что Эккерман гонялся за Гете с диктофоном?»

«Их тогда еще не изобрели».

«Перестань, я знаю. Это метафора. Диалог — это скорее не то, что реально сказано, а то, что может быть сказано».

«Верно, — согласился я, — но я не настолько талантлив, чтобы отразить то, как ты звучишь. А вы говорите так, как пишите». (Я лишь в шутку обращался к ней на «вы», разыгрывая покорность.)

«Чепуха, — отрезала она, — это внешний блеск, и нужно много работать, чтобы его добиться.

Истинный блеск — это своего рода литературный дизайн».

В конце концов она уступила, предупредив, однако, что я сам увижу, насколько текст, распечатанный с кассеты, не имеет ничего общего с диалогом или монологом литературного произведения.

«Ладно, только чтобы я не видела эту дурацкую штуку, — поставила она условие, — иначе я буду стараться быть лучше, чем есть на самом деле».

Наверное, эта идея пришла ко мне слишком поздно (кроме того, Лотта оказалась права, и все получилось не совсем так, как мне хотелось). Просто однажды вечером меня вдруг охватило желание ловить и сохранять каждое ее слово.

«Сегодня я расскажу тебе, что такое хорошая книга, — начала она и остановилась. — Все по порядку. Сегодня я попробую рассказать тебе, что, по моему мнению, есть хороший роман или хорошая повесть». Она снова замолчала и вдруг с удивлением посмотрела на меня. «Не могла себе представить, что будет так трудно, — попыталась оправдаться она, — ведь это то, что я знаю, но мои знания как будто спотыкаются о слова. Хорошая книга держится не на том, что в ней написано, а на том, чего в ней нет и что остается тайной писателя. Может быть, об этом не следует говорить. Как, например, когда готовишь какое-нибудь замысловатое блюдо. Его вкус определяют не известные никому специи и добавки. Повар никогда не поделится секретом мастерства, даже если он ужасно гордится своим творением и, возможно, хотел бы, чтобы кто-нибудь вслед за ним попытался превратить тройной говяжий бульон в нежный соус. Писатели в этом смысле такие же упрямые, если речь идет об их профессиональной

тайне. Сами они едва ли могут сказать что-то толковое о собственных книгах. Не потому, что не знают, что сказать, напротив, лучше них этого не знает никто; но они не могут произнести это вслух, просто язык не поворачивается, потому что это их тайна, а разглашение любой тайны постыдно. Это странно, ведь любой толкователь имеет право открыть тайну и обнажить ту связь, которая благодаря писателю возникает между отдельными частями книги. Но писатель стесняется сделать это сам. Возможно, потому, что мы вообще не любим расхваливать собственные произведения. Этим должны заниматься другие. И тайный путеводитель, необходимый писателю при написании книги, обязательно сказывается на ее качестве».

Я видел, как она всеми силами пыталась сгладить красивыми словами шероховатости этой трудной темы. Чтобы как-то помочь ей, я спросил, то же ли самое имел в виду Херманс[10], у которого в романе даже воробей не мог упасть с крыши, не имея на то каких-либо причин. «А знаешь, — заметила она и усмехнулась, — что это выражение принадлежит вовсе не Херман-

[10] Примечания: 10
W.F. Hermans (1921–1995), нидерландский писатель.

су? Евангелие от Матфея, глава десятая, номер стиха не помню, поищи сам». Библия была одной из книг, хранившихся в шкафах ее дома, шкафах, где размещалось ни много ни мало еще две тысячи сочинений и где почти на каждой полке стояли портреты родственников, друзей и писателей. Достав Библию Виллиборда[11], я вернулся на прежнее место. Из книги повсюду торчали закладки, и я боялся их растерять. В 10-ю главу Евангелия от Матфея тоже была вложена закладка, в которой я распознал открытку с изображением иконы. Я быстро нашел нужную строку.

«Прочти вслух, — попросила Лотта, — и начни немного выше — это очень красивое место».

«…ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет

---

[11] Примечания: 11
Канонический перевод Библии у голландских католиков.

на землю без воли Отца вашего»[12].

«Хорошее чувство юмора у этого Херманса, — сказала она. — Он примерил статус Бога, процитировав Библию и искренне надеясь, что все узнают эту цитату».

Перед тем как пойти дальше, она снова наполнила бокалы и закурила очередную сигарету.

«Да, действительно, есть некоторая связь и с этим дурацким воробьем, — продолжала она нерешительно. — Хотя иногда необходимо просто открыть кому-то дверь, не возводя это в метафору, и просто пустить кого-то в комнату, не вкладывая в это действие какого-то дополнительного смысла. Но не стоит злоупотреблять этим, иначе начнешь малодушничать или, что еще хуже, скучать. Счастье писателя скрыто в науке быть ведомым тем, о чем не упоминается в книге, но что служит мотивом при выборе тех или иных слов. Каждая книга содержит в себе, таким образом, еще и ненаписанную книгу, которую автор должен знать от корки до корки, ведь она задает границы той книги, которую он сочиняет». Лотта испытующе на меня посмотрела и спросила без всякой надежды в голосе, понимаю ли я, что она

[12] Примечания: 12
Мф. 10, 26.

имеет в виду.

«Я начинаю уже надоедать самой себе разговорами, — сказала она, не дожидаясь моего ответа. — Я пошла спать. Попробуем в другой раз, ведь это важно для нашей книги. Продистиллируй, кстати, завтра этот пассаж у Матфея, он мне пригодится».

Перед тем как попрощаться, я хотел слегка приободрить ее, выразить восхищение ее словами и тем, что понял все, о чем шла речь, хотя у нее возникло чувство неудовлетворенности.

«Лотта, — спросил я, стоя в дверях, — может ли ненаписанная книга оставаться всегда одной и той же?»

Не скрою, что я весь переполнился гордостью, когда она обалдев уставилась на меня, затем спрыгнула со стула и обняла.

«Макс, ты гений!» — радостно воскликнула она.

Это случилось перед тем как она закончила последнюю главу «Всецело вашего». Она позвонила мне около полудня и попросила спуститься вниз. В панике она умоляла меня прийти как можно скорее. Нетрудно было заметить, как она перепуганна и растерянна. Она сидела за столом в неестественной, скрюченной позе.

«Похоже, начинается, — нервно улыбаясь, сказала она. — У меня такое чувство, будто ноги хотят от меня отделиться. И я боюсь встать, потому что ни на секунду им не доверяю».

«А ты пробовала?» — спросил я.

«Нет, — ответила она, глядя мне в глаза. — Я боюсь. Как будто они превратились в кашу и не могут больше меня носить».

«Мы должны убедиться, что твое недоверие к ним оправданно», — сказал я как можно более непринужденно. На самом деле меня растрогал ее взгляд, ведь раньше она никогда не проявляла признаков страха. И только сейчас я понял, что она все время скрывала от меня, как боялась того, что ждало ее впереди.

«Ты как маленький верблюжонок», — сказал я, когда она снова стояла на ногах.

«Это было по-настоящему или только в моем воображении?» — спросила она со слезами на

глазах и выругалась, сказав, что не желает быть ко всему прочему еще и забытым Богом ипохондриком.

«Возможно, это послероманный синдром, — предположила она. — Мне всегда очень грустно, когда я должна прощаться с книгой».

Из своей комнаты я позвонил ее врачу и рассказал ему о том, что случилось.

«Будет неплохо, если вы с Лоттой зайдете ко мне на недельке, чтобы снять размеры для пары палок», — сказал он типичным для врача невыносимо спокойным тоном, столь знакомым мне с детства тоном отца.

Мысль о том, что на презентации «Всецело вашего» она будет хромать, не давала ей покоя. Ей не хотелось, чтобы болезнь повлияла на прием книги и чтобы критики то и дело говорили о конце творческого пути, сводя интервью к нескончаемому обсуждению — каково же ей теперь, перед лицом смерти.

После того случая она больше не выказывала недоверия к своим ногам и не боялась упасть. Между тем ширился круг друзей, знавших о ее состоянии, и в тот праздничный вечер я без слов чувствовал, что мы разделяли общую тайну и слегка меланхолическую радость по поводу издания новой книги. Энергичная и взволнованная, она обходила гостей. Этот взгляд я уже научился распознавать — влюбленный взгляд женщины, довольной и счастливой, взгляд, появляющийся у нее всегда, когда ее окружали любимые и любящие люди, о которых она всегда говорила, что бесконечно рада оказаться с ними в этом мире в одно и то же время. До того как я лично встречался с каждым из ее друзей, у нее ли дома или на вечеринках, она в деталях рассказывала мне о них, так, словно выписывала персонажи своей книги. Театрально (впрочем, скорее всего, неосознанно) она изображала, как они ходят, как

жестикулируют во время беседы, копировала их голоса, повторяла характерные для них выражения, проигрывая все это не без иронии, с зажигательным восторгом и огромной симпатией к своим героям. Для того, кто привык слышать о других лишь плохое, это было откровением. Ее рассказы о друзьях будили во мне безудержное желание любить и дружить так же, как она.

«Знаешь, что самое трогательное в этом мире? — как-то спросила она меня и, не дожидаясь ответа, сказала: — Доброта».

«Всецело ваш» был встречен в прессе, что называется, неоднозначно. Поскольку газет она не выписывала, каждое утро в течение недели после выхода романа я направлялся в маленький табачный магазинчик на углу и вместе с сигаретами покупал для нее газеты и журналы, где, как мы предполагали, могли быть опубликованы рецензии. С того времени я стал проводить с ней и утро, лишь тогда осознав, как важно для нее начало дня, когда она готовила себя к его продолжению.

«Я еще не собрана для людей в столь ранние часы», — сказала она однажды утром, пытаясь оправдать свою молчаливость и замкнутость. «Смотри на “*семью*”», — пробормотала она, принимая от меня газеты. — Я дитя затворников и клоунов. По утрам я затворник». Я собрался было вернуться к себе, чтобы оставить ее одну, но она задержала меня, предложив кофе и завтрак. Она сказала, что ей все равно надо привыкать к моему обществу и она с удовольствием обсудит со мной рецензии. Ведь нет ничего более унылого, чем сиротливо сидеть и читать, как принимают твою книгу.

«Чувствуешь себя вдовой, которая только что потеряла мужа и теперь впервые в страшном одиночестве просматривает школьный дневник

своего ребенка: некому посетовать на очередную тройку по математике, но и не с кем поделиться радостью по поводу пятерки по языку, способности к которому этот маленький чертенок явно унаследовал от отца».

Лотта Инден удивляла меня снова и снова. Я сидел напротив нее за большим деревянным столом на кухне и со все нарастающим негодованием зачитывал рецензии. Любое нелестное высказывание было для меня таким болезненным, словно я сам написал этот роман. Обычно я не слишком бурно и открыто выражаю свои эмоции, но статьи в газетах и журналах заставляли меня то и дело скрежетать зубами от раздражения и возмущаться, ругая авторов, которые так ничего и не поняли в ее книге.

«Давай вслух», — просила Лотта спокойно и громко смеялась, когда я с выражением зачитывал ей те пассажи, которые пробуждали во мне ярость.

«Интересно, — произносила она, становясь серьезной, — над этим надо будет поразмышлять».

У меня никогда не было оснований сомневаться в искренности слов или поступков Лотты. О несчастьях в своей жизни она говорила, что ни к чему хорошему они не привели, что несчастье есть несчастье, и точка. По словам Лотты, ее характер позволял ей мгновенно приспосабливаться к ситуации: подобно змее, она обвивалась вокруг своего горя, готовясь его побороть, а потом надо было лишь привыкнуть к новой форме

существования, к новым изгибам, и это привыкание длилось довольно долго.

«Есть такие страшно положительные типы, — сказала она однажды, — как, например, Этти Хиллесум[13], которых можно посадить за колючую проволоку, бить, унижать, окунать в дерьмо, морить голодом так, что они в конце концов издохнут, но при этом будут ликовать, веруя в человечность и в свою счастливую судьбу. Я не такая. Я ни за что не стану благословлять собственные несчастья. Каждый день я скорблю о них. Я с отвращением смотрю на свои новые формы, которые не доставляют мне ни радости, ни огорчения, я просто должна к ним привыкнуть. Я должна привыкнуть к тому, чтобы еще бережнее обращаться со своим временем и больше не тратить его, например, на знакомых. Знакомые — это часть любой нормальной жизни, но уже не моей. А необходимо еще привыкнуть к тому, что у меня больше нет времени лгать. Человек лжет каждые восемь минут, честное слово, — в какой-то газете я читала об исследованиях, проведенных одним американским университетом. Но попавший в беду не может позволить себе этого, у

[13] Примечания: 13

Etty Hillesum (1914–1943), нидерландская писательница, умерла к концлагере Освенцим.

него впереди нет будущего, которое своей ложью он мог бы обезопасить. Иными словами, ты не становишься ни хуже, ни лучше, но, возможно, несколько жестче. Люди обманывают друг друга, хитрят, изнуряют себя искусственной веселостью, наигранным дружелюбием и лицемерной любезностью, и это нормально, это заложено в человеческой натуре. И ничего отрадного нет в том, чтобы ощущать себя изгнанным из этого театра гримас. Я тоже с удовольствием играла бы в нем, обманывая и дурача, но ложь и плутовство, увы, утратили для меня свою полезность».

То, как Лотта принимала отзывы о книге, заставило меня вспомнить эти высказывания, и я спросил себя, объяснялся ли сегодняшний ее стоицизм новыми изгибами ее характера. Возможно, я стремился к большей близости с Лоттой, желая разделить с ней свое негодование по поводу внешнего мира, который знал о книге гораздо меньше, чем мы с ней; а может быть, я хотел попробовать, что значило это «мы», мерцающее в перспективе, теперь, когда нам предстояло приступить к новому большому роману. В любом случае ее веселость вызывала во мне скорее гнев, нежели восторг, и в одно прекрасное утро, не подозревая, как зол на нее и

переполнен раздражением, я высказал ей, что не верю в ее холодное равнодушие к язвительным замечаниям критиков; что, бичуя таких, как Этти Хиллесум с их отречением от жизненных благ, она сама демонстрирует присущий им аскетизм, и что, скорее всего, такое безразличие к критике объясняется ее болезнью.

Первоначальное удивление в ее взгляде сменилось любопытством.

«Ого, Макс, я и не знала, что ты можешь быть таким разъяренным», — широко улыбаясь, сказала она с восхищением в голосе.

Но прежде чем я успел опомниться, выражение ее лица снова изменилось: снисходительная улыбка уступила место печали, появились глубокие морщины, которых я раньше не замечал. Я тут же пожалел о том, что наговорил ей. Она увидела это, покачала головой и сделала успокаивающий жест, желая меня разубедить и выиграть время, чтобы прийти в себя.

«Прости», — сказал я, как только она успокоилась.

«Не нужно извиняться, — ответила она. — То, что ты говоришь, задевает меня за живое, нет, скорее то, о чем ты молчишь. Со мной, наверно, сложно общаться, особенно тебе. Ты считаешь,

будто мне все равно, что ты обо мне подумаешь, но это не так. От этого нельзя откупиться. Не могу тебе передать, как меня волнует, что кто-то еще, как бы это сказать, желает моей любви, что ли?»

Отвечая на ее полувопрос, я собрался было встать и обнять ее, но она указала жестом, чтобы я продолжал сидеть.

«Не сейчас, Макс, — сказала она мягко. — Затворник неприкасаем».

Передо мной на экране появились первые фразы из Сэмюэля Беккета, которые в августе 1983 года она продистиллировала из «Моллоя». Их смысл почти не доходил до меня. Я все еще вспоминал лицо Лотты, неожиданно омраченное грустью, и на душе у меня было неспокойно: я хотел оказаться рядом с ней и сделать для нее что-нибудь хорошее.

«Обожаю Беккета, — сказала она как-то. — Никто другой не может так рассмешить рассказами о нищете».

Она говорила, что многому научилась у Беккета, хотя с трудом могла описать, чему конкретно.

«С некоторыми книгами происходят удивительные вещи. Их чтение стоит мне усилий, и я знаю, что делаю это лишь один раз в жизни и что, с наслаждением покоряя предложение за предложением, никогда не стану перечитывать книгу целиком. «Человек без свойств» Музиля, например, — именно такая книга, и почти вся проза Беккета. Эти книги прекрасны не единым целым, а отдельными предложениями. Я не хочу с ними расставаться, они должны окружать меня, несмотря на то, что я уже выписала практически все предложения, имевшие для меня значение, и сами книги уже в общем-то мне не нужны, чтобы

их перечитывать, каждый раз поражаясь заключенному в них юмору, их изощренности, голосу и разуму, их породившему. Я восхищаюсь тем, кто может написать: «Жаль, что это последнее предложение не получилось. Кто знает, возможно, оно достойно быть лишенным двусмысленности», — или тем, кто вздыхает о себе, далеком от совершенства, и о любви, необходимой человеку лишь тогда, когда он хочет быть счастливым».

Поскольку это был единственный способ как-то ее утешить, я отыскал и перепечатал не только отрывки из «Моллоя», но и все, что было выписано ею из Беккета, после чего с аккуратной папкой вошел в гостиную. Только что закончилось интервью и фотосъемка, и она собиралась со мной в город поужинать. Ее приветствие показалось мне наигранно веселым. Я был слегка разочарован; от утреннего хрупкого настроения не осталось и следа, и утешительные фразы Беккета, скорее всего, были уже ни к чему.

«Фотографы, Макс, бывают хорошими и плохими, — начала она оживленно, — к счастью, мне попадалось больше хороших, чем плохих. О хороших можно многое рассказать, о плохих — ничего. Плохой фотограф — это недоучившийся клептоман, который ускользает из твоего

дома с твоим изображением и делится затем со своей подружкой снобистскими суждениями об интерьере у тебя в гостиной. Тот молодой человек, который только что ушел, был плохим фотографом».

«В чем же тогда причина твоего веселья?» — спросил я с невольным раздражением.

«В том, что только сейчас, когда провожала его, я поняла, почему порой после визита одних фотографов чувствуешь себя словно обворованной, а после ухода других, наоборот, как будто что-то получившей».

«Поздравляю с открытием», — проворчал я, сам того не желая.

«Что с тобой, Макс?»

«Не знаю, просто утром ты была такой близкой, такой уязвимой».

«Никогда больше, слышишь, никогда не произноси этого слова в моем присутствии! — закричала она. — Ничего нет более оскорбительного, чем слово «уязвимый». Его произносят гадкие порочные типы в самые неподходящие моменты, и я страшно разочарована, что ты, по всей видимости, не прочувствовал всей его отвратительной фальши. Можно подумать, что, когда мы плачем, мы более уязвимы, чем когда этого не делаем».

«Ты действительно во мне разочаровалась?» — спросил я с наигранной обидой.

«Как слышал».

«Но я не переживу этого».

Здесь она, к счастью, засмеялась и сказала, что никому не нравится обманывать чьи-то ожидания, но все же иногда полезно узнавать о себе что-то новое.

«Вот и я сейчас тоже не оправдала твоих ожиданий», — парировала она смеясь.

Она отправилась на кухню и вернулась с двумя стаканами кампари со льдом. Не успела она поставить их на стол, как в дверь позвонили. Это был Аксель Ландауэр, старейший друг Лотты и ее покойного мужа и, так же как господин Таллич, автор детективных романов. Они вошли в комнату под руку, и Лотта пригласила его присоединиться к нам за ужином в ресторане.

Как я ни старался насладиться компанией красноречивого и очаровательного бургундца Ландауэра, мне так и не удалось в тот вечер вернуть себе хорошее настроение и избавиться от сосущего чувства неудовлетворенности. Около полуночи я ушел от пылающего камина и еще долго не мог заснуть в ожидании звука захлопывающейся двери. Но его не последовало, и я, не

понятно почему, ощутил себя покинутым.

В ресторане она снова вернулась к теме того утра. Она рассказала Акселю, что я отказывался верить в ее восприятие критических статей и в то, что ей абсолютно наплевать на все — будь то лишенные восторгов рецензии или же прямые нападки на ее персону.

«Я прекрасно понимаю Макса, мне тоже трудно в это поверить, — заступался за меня Аксель, — но приходится, ведь все эти годы я видел, что критика оставляет тебя равнодушной, а порой даже развлекает. И как только у тебя это получается? Я, например, дни напролет переживаю из-за какой-то плохой статьи, мне стыдно выйти на улицу, стыдно смотреть в глаза моей семье, любимым, знакомым и друзьям. Потом еще несколько месяцев я избегаю книжных магазинов и других мест, где мне могут встретиться читатели журналов и газет. В своем воображении я насылаю на несчастного критика самые ужасные пытки, которые во всех кровавых подробностях описаны в бичуемой им работе, и совершенно не терзаюсь угрызениями совести. Я режу, рублю его на мелкие кусочки, мучаю до потери сознания, ухмыляясь от наслаждения, и громко повторяю вслух забракованные им предложения. Ведь вы же понимаете, что каждую разносную рецензию

я знаю наизусть, слово в слово, и помню имена всех невежд, которые когда-либо осмеливались критиковать мои творения».

Он повернулся ко мне и рассказал, как ему в конце концов пришлось смириться с тем, что у Лотты совершенно другое отношение к внешнему миру и поэтому он все время должен был ей напоминать, кто, когда и как выражал неудовлетворение ее творчеством.

«Шли мы, например, вместе на какой-нибудь прием, и она тут же вступала в беседу с одним из таких типчиков, который только неделю назад поливал ее помоями в своей тухлой газетенке. Тогда я ее спрашивал: «Ты что, не помнишь ту гадкую рецензию о том-то и том-то, которую написал этот зануда?» Она действительно припоминала, но уже не могла восстановить в памяти конкретные детали статьи, не говоря уже о фамилии того придурка».

Я видел, с каким удовольствием Лотта слушала полную возмущения речь Ландауэра и одновременно обдумывала свой ответ.

«Все дело в независимости, — сказала она, после того как Аксель Ландауэр привел еще несколько примеров ее безразличия. — В двух областях я никому не позволю предписывать себе законов и

диктовать, что хорошо, а что плохо: в любви и в работе. Я определяю это сама».

«А как быть с критикой, направленной на тебя лично? — спросил Ландауэр. — Последний раз меня обозвали самовлюбленным, тщеславным, чванливым буржуем, которому стоит лишь переписать отчеты из своей судебноследственной практики, чтобы выйти на рынок с новой книгой, и который занимается тайным самовозвеличиванием с помощью своего восхитительного, но все же несколько приземистого главного персонажа, как две капли воды похожего на автора».

«Человека можно судить по его поступкам, и я позволяю делать это лишь тем людям, которые со мной общаются, — сказала Лотта с присущей ей уверенностью. — И, честно говоря, я не понимаю, как ты можешь принимать близко к сердцу высказывания, заведомо лживые, бесталанные, принадлежащие неучам с мозгами мидии и речью прилежного школьника, которые, возможно, и в состоянии что-то записать, но решительно ничего не могут написать. Слово «самовлюбленность» набило мне оскомину, оно напрочь вырвано из контекста шайкой псевдопсихологов, которые ни разу не брали в руки Фрейда, но с трудом одолели половину книги Кристофера

Лаша[14] и теперь с прожженным консерватизмом используют ее в качестве образца. Вовсе ты не чванливый, не тщеславный и не самовлюбленный буржуй, дорогой, я тому свидетель, ты робкий, неуверенный в себе, стеснительный человек, с большим талантом и глубоким пониманием того, что творится в душах преступников и капризных женщин. И тебе совсем не нужно самому себя возвеличивать, ведь для этого у тебя есть другие — я, например».

Аксель наклонился и, обхватив двумя руками ее голову, прижался губами ко лбу, изображая полный преданности поцелуй.

«Пожалуйста, заботься о ней хорошо, Макс, — обратился он ко мне. — Что я буду делать без этого острого язычка».

[14] Примечания: 14

Christopher Lasch (p. 1923), американский историк. Имеется в виду книга «Культура нарциссизма».

Рано утром я услышал, как хлопнула дверь. В этот день я собрался навестить Маргарету Бюссет и, в надежде справиться с унынием, принялся читать Лоттины записи о семье.

«Я дитя затворников и клоунов.

Это, конечно, преувеличение, но иногда, чтобы проникнуть в суть вещей, гипербола необходима. По-моему, Ньютон тоже решил однажды хорошенько преувеличить и попробовал представить себе яблоко, падающее вверх. Убедившись, насколько это немыслимо, он пришел к выводу, что есть в нашей земле нечто такое, что притягивает к себе предметы и людей, и они поэтому всегда падают только вниз.

Я дитя затворников и клоунов.

Семьи моих родителей жили на фермах, на самой окраине деревни, и обе мои бабушки имели по двенадцать детей. Двенадцать — вполне нормальное число.

Мой отец был одним из семи братьев, а мама — одной из семи сестер, и оба они составляли исключения из правил. Появившись на свет в среде затворников, мой отец тянулся к людям. Мать же, из рода клоунов, искала книжного уединения.

В первой половине нынешнего столетия желания еще игнорировались судьбой. Судьба распорядилась так, чтобы отец унаследовал сострадательную душу своей матери, а мама оказалась старшей из семи сестер. Таким образом, мой отец, со своей жалостью к людям, остался с

затворниками, а мама была изгнана со школьной скамьи, чтобы стать правой рукой собственной матери.

Грусть и удивление родителей по поводу столь скоротечных перемен во второй половине двадцатого века перерастали в замешательство из-за огромного поля желаний и очевидного ослабления крепкой хватки судьбы. Все, отвоеванное в пользу желаний, было отнято у судьбы. Никакое происхождение и никакие расстояния не могли принудить детей наших родителей оставаться там, где они родились и где были обречены на жизнь, заранее известную.

Меня мучила сама возможность получить то, чего они не могли иметь при всем желании. Я смотрела на них со смешанным чувством благодарности и сострадания и представляла себе, как они трудились не покладая рук, чтобы ради блага своих детей ослабить ту самую хватку судьбы, а сами оказались в положении, в котором, возможно, вовсе и не хотели оказываться».

Под текстом была еще какая-то неразборчивая надпись. Мне пришлось поломать голову, чтобы ее расшифровать, и в конце концов получилось слово «не завершено». Далее уже ясным почерком был выписан фрагмент из книги, название

которой не упоминалось, но сам фрагмент был озаглавлен так: «Краткое изложение тайн». В скобках с восклицательным знаком в конце пояснялось, что речь шла о Марии.

«Иисус составляет смысл этой женской жизни, так же как ребенок является смыслом жизни матери и значит для нее больше всего на свете. В то же самое время Он является и ее Избавителем, таковым не может быть для матери ее ребенок».

В тот же день Маргарета спросила меня, не влюблен ли я в Лотту Инден.

Я рассказал ей, что перед тем, как прийти, пытался найти утешение в Лоттиных записях, из которых ранее слышал лишь начальные строки. Но и в «*семье*» я не нашел того, что искал, к тому же не мог четко сформулировать вопроса, на который хотел получить ответ.

«В ней есть что-то такое, что делает ее недосягаемой», — признался я Маргарете.

«Насколько же близко ты хочешь к ней приблизиться?» — спросила она, не меняя выражения лица.

Я не имел об этом ни малейшего представления, мое желание было велико, но я не знал, чего именно от нее хотел.

На следующий вопрос Маргареты мне трудно было ответить сразу. Просто потому, что я не позволял себе даже помыслить об этом и боялся, что, произнесенное вслух, оно тут же сбудется.

«Почему ты себе это запрещаешь?» — спросила Маргарета.

«Это она мне запрещает», — сказал я и почувствовал легкую горечь от правдивости этих слов.

Вечером я зашел к Лотте. Около одиннадцати я стоял перед дверью нашего дома и различал еле мерцающий огонь на первом этаже. После разговора с Маргаретой сделалось легче на душе, как обычно бывает, когда удачно подберешь нужное слово или выскажешь то, что давно собирался, но никак не мог сказать. Ее слова все еще звучали во мне, утешая и ободряя.

«У нее есть своя территория, куда она никого не пускает», — говорила Маргарета. И это, по ее словам, совершенно не зависело от меня — так было всегда. Эта территория ей необходима, чтобы жить так, как она привыкла, — одиноко и ригористично в своем затворничестве и неуловимо весело в компании друзей. Маргарета читала книги Лотты, но порой мне казалось, что она знает Лотту лично.

«Не знаю, но узнаЮ», — сказала она тогда.

С вновь обретенным чувством уверенности я трижды нажал на кнопку звонка, давая Лотте сигнал, что это я, после чего собственным ключом открыл тяжелую дверь.

«Are you decent?!»[15] — прокричал я из коридора.

---

[15] Примечания: 15
Ты в приличном виде?! (*англ.*).

«Разве я когда-нибудь бываю приличной?!» — крикнула она в ответ из гостиной.

Обложившись тетрадями, она сидела, скрестив ноги, перед телевизором и продолжала делать пометки, когда я вошел в комнату.

«Возьми что-нибудь выпить, Макс. Я только что посмотрела жутко занудный фильм о токовании райских птиц, который навел меня на некоторые пикантные мысли», — сказала она, не отрываясь от своих записей.

Мы просидели вместе еще час. Она поинтересовалась, как я провел время у Маргареты, и я ответил, что мне всегда приятно бывать у нее и что это единственная женщина, которой я могу откровенно пожаловаться на Лотту. Лотта не приняла это как шутку и с неуверенной улыбкой переспросила, действительно ли я хожу к ней только для того, чтобы поплакаться.

«Ну конечно, зачем же еще? Ведь жизнь с вами не назовешь сладкой. Однако мои жалобы всегда наталкиваются на одно и то же предположение Маргареты, что я, вероятно, просто без ума от вас, и на этом все заканчивается».

«Да, вот так бывает, когда твоя лучшая подруга — психиатр», — ответила она, и я заметил, что она слегка покраснела. В ее голосе звучали нотки

любопытства, доставлявшие мне удовольствие, которое я желал растянуть. Я спросил ее, что же такого интересного она почерпнула из брачных танцев райских птиц, и она, с радостью сменив тему, воодушевленно принялась рассказывать о том, что увидела.

«Фильм был о птицах, обитающих в чащах Борнео или где-то в тех местах. Какой-то достойный англичанин крадется со своим биноклем по лесу — довольно комичное зрелище, надо отметить, потому что за ним, конечно, следует его съемочная группа, которая время от времени фиксирует, как он, притаившись, на корточках наблюдает за птицами. Но дело не в нем, меня больше взволновала разница между пестрыми и серыми птицами. Райские птицы блистательны в своем великолепном оперении: ярко-желтые, красные, синие хвосты и хохолки. А рядом с ними — серые, как пепел, ничем не примечательные птички, без всяких прикрас, очень напоминающие заурядных уличных воробьев. Это — так называемые беседковые птицы, или шалашники. Речь о соблазне. У райских птиц есть все, чтобы щеголять направо и налево. Стоит им только расправить свои цветные оперенья, надуть и выпятить кричаще-желтую или ярко-красную грудь, немного

покачаться на ветке, как незамедлительно подлетает самка, и цель достигнута. Все действо занимает минут пять. У беседковых птиц совсем по-другому. Большая часть жизни самца уходит на создание хитроумного сооружения. Прутик за прутиком притаскивает он, чтобы построить нечто красивое и добротное и стать таким образом неотразимым для своей возлюбленной. Самка выбирает его, потому что он может сделать что-то хорошее. Ему ничего не стоит воздвигнуть архитектурный шедевр наподобие китайской пагоды. Чтобы заманить самку, перед своей беседкой он складывает яркие цветы в одну кучку, черно-синие ягоды — в другую, а тяжелые желуди — в третью. Первое, о чем я подумала: каждый танец — есть танец токования, в том числе и у людей. Во-вторых, я поймала себя на мысли, что франтовство прекрасных птиц не вызвало во мне никаких эмоций, в то время как старательный труд их серых собратьев, их созидательное мастерство растрогали до глубины души. Искусство — это умилительное токование, — записала я, и дальше еще что-то о трагедии Мэрилин Монро.

«Это в твоем духе, — сказал я. — Похоже на твои прежние утверждения о том, что писательство есть искушение и что ты не можешь гордиться

своей судьбой, поскольку она досталась тебе даром».

«Несомненно, — ответила она. — Что-то совсем новое придумать сложно, дорогой. Подобно шалашнику, я продолжаю достраивать то, что уже знаю, и то, что меня волнует. Единственное, в чем можно быть оригинальным, — это в тобой придуманной неожиданной комбинации уже известного».

Наверно, я ответил без должного энтузиазма. На ее лице угадывалось раздражение, она развела руки и воздела их к небесам.

«Но ведь это же здорово, Макс, — наблюдая за токованием красочных райских и серых беседковых птиц, мы можем добавить новую веточку к собственному сооружению в голове?»

Этот неожиданный вывод заставил меня улыбнуться, и я попросил ее рассказать мне всю историю еще раз, потому что упустил, какая именно веточка была добавлена к беседке.

«Трогательность, — сказала она с явной неохотой. — Я поняла, что естественная красота не задевает за живое, в то время как созданное кем-то творение проникает в сердце. Вот и все. И тут же перед глазами возник образ тысячу раз растиражированной Мэрилин Монро, которой стоило

только расправить, подобно райской птице, свое яркое оперение, чтобы восхищать и соблазнять, не вызывая при этом ни малейшей эмоции или хотя бы человеческого взгляда, полного любви. Отсутствие этого взгляда, по-моему, и делало ее такой несчастной и в конечном счете погубило. Взгляд, в котором читается преклонение перед естественной красотой, — взгляд холодный и равнодушный. Я лишь хотела сказать, что не требующее усилий, очевидно, не пробуждает у людей любопытства. Мэрилин Монро выходила на публику, чтобы быть любимой, а получала вместо этого восторженный, но лишенный теплоты взгляд».

«Ты — кальвинистка и считаешь, что все в этой жизни нужно заработать своим трудом».

«Ты сегодня что-то очень критично настроен, Петзлер, я тебя чем-то обидела? Я не кальвинистка, а благочестивая католичка и привыкла к тому, что красочность действа соседствует с глубокими тайнами и высокими проявлениями духа. Наш священник облачается в багряные одежды не для того, чтобы покрасоваться, нет, тут иное — это воплощение Бога, служение Слову, пресуществление и тому подобные прекрасные и непонятные вещи. Да. Но я уклоняюсь от темы.

Какой комментарий был у тебя перед этим?»

«Я сказал, что, по твоему мнению, все в этой жизни нужно заработать своим трудом».

«Да, — ответила она, — я так считаю».

Два шкафа в библиотеке на чердаке были заполнены биографиями, и я знал, что внизу в ее комнате стояло еще штук пятьдесят биографических книг, которые она хотела иметь под рукой. Некоторые из них она поставила так, чтобы с переплетов на нее смотрели лица, такие же родные и любимые, как на соседствующих с ними фотографиях друзей и родственников. Таким образом, что бы я ни делал, за мной следовал пронзительный взгляд Сэмюэля Беккета, в то время как глаза Маргериты Дюрас[16] старались избежать со мной встречи; Фридрих Ницше был вечно недоволен моим поведением, а Элвис Пресли со своей кривой ухмылкой ежедневно старался мне понравиться; взгляд же Карри ван Брюгген[17] скрывал тайну ее смерти. Я знал, что Лотта любила читать о жизни других, и поэтому был сильно удивлен отсутствием каких-либо записей или писем в биографических произведениях, хранящихся на чердаке. Я поймал себя на этой мысли после ее размышлений о Мэрилин Монро, и мое недоумение только усилилось, когда я

[16] Примечания: 16

Marguerite Duras (1914–1996), французская писательница, сценарист и кинорежиссер.

[17] Примечания: 17

Carry van Bruggen (1881–1932), нидерландская писательница.

принялся дистиллировать переписку Флобера с современниками. Только что я перепечатал четыре пассажа из его переписки с Луизой Коле, которые, по мнению Лотты, соответствовали теме «*самобытность*».

«Что делает персонажей из Прошлого столь прекрасными — так это их самобытность. В этом все дело — найти что-то в себе. Сколько наук нужно не изучить, чтобы стать независимым от книг! И сколько их нужно не перечитать! (8 мая 1852 года)».

«Все мои корни — в книге, которую я знал наизусть еще до того, как научился читать, а именно в «Дон-Кихоте», прибавьте к этому бурлящую пену нормандских морей, хандру и непроглядный туман (19 июня 1852 года)».

«Никто не самобытен в чистом смысле этого слова. Талант, так же как и жизнь, передается через инфузию, и мы должны пребывать в благородном обществе, ориентируя наши потребности на общение с учителями (6 июня 1853 года)».

«Читать полезнее, чем писать, потому что мы пишем то, что другие уже писали до нас, увы! (13 марта 1854 года)».

Перепечатывая эти цитаты, я вспоминал ее собственные соображения по поводу самобыт-

ности, ее негодующее осуждение радикального упразднения этого понятия, что, по ее мнению, свидетельствовало бы о неспособности вложить в него более глубокий смысл. Она часто обращалась к этой теме как к одной из главных в ее будущем большом романе.

«Достаточно того, что мы с тобой знаем, каков скелет нашего произведения, — сказала она как-то. — А разобраться в чем-то можно только тогда, когда связываешь одно с другим».

«Чем больше вещей связаны друг с другом, тем проще проникнуть в суть этих вещей, — продолжала она, добавив, что таков закон структурирования. — Однако мы не занимаемся структурированием, мы пишем книгу. Роман — не научное исследование хотя бы потому, что дает представление о личной жизни людей, времени, мире. Сравнивая свои переживания с опытом других, глубже познаешь и самого себя».

Уверенный в том, что лучший подарок Лотте — это хороший вопрос, в тот день я спустился вниз с намерением прояснить те неясности, которые встретились мне в биографиях.

И хотя мы обменялись самыми что ни на есть теплыми приветствиями, я помню то чувство досады, которое испытал, снова застав у нее Акселя

Ландауэра.

Единственный ребенок в семье, я один правил в своем королевстве и потому, наверное, не владел талантом приковывать к себе внимание окружающих. Маргарета заметила однажды, что, стоило мне только стать объектом всеобщего интереса, я тут же обращался в бегство. И хотя присутствие Акселя Ландауэра вызывало во мне неприятное чувство ревности, желание развернуться и уйти в свою комнату, я не поддался этому порыву и принял приглашение разделить их компанию. Налив себе кампари, я занял место в кресле перед камином. Аксель и Лотта возобновили тем временем прерванный моим появлением разговор.

«Мы тут болтаем про серийных убийц, Макс, — пояснил Аксель, — и нам очень не хватает мнения эксперта — господина Таллича».

Из его книг и Лоттиных рассказов я знал, что Таллич хорошо разбирался в психологии серийных убийц. При жизни он был одним из немногих европейцев, сотрудничавших с американским институтом, который исследовал этот вид преступлений. Они с Лоттой часто ездили в Америку, куда его приглашали на конференции по бихевиоризму. Он изучал также исторические, философские и социологические аспекты этого явления, пытаясь объяснить, почему серий-

ные убийства встречались в Европе реже, чем в Америке.

«Больше всего мне запомнились слова Тобиаса о том, что серийные убийцы не учатся на своем опыте и не знают чувства жалости», — сказала Лотта.

«А разве то же не распространяется на всех убийц?» — спросил я.

«О нет, — возразил Аксель, — огромное число убийств было, несомненно, совершено из жалости».

«Из жалости к самому себе, — съязвила Лотта, — это самое опасное из чувств».

«Ты слишком строга, — мягко возразил Аксель, — иногда жалость к самому себе оказывается весьма благотворной. На заре взрослой жизни мне понадобилась многолетняя терапия, чтобы я в конце концов смог с состраданием взглянуть на того ребенка, каким я был, и перестал винить себя за то, что оказался сыном отца-тирана и матери, которая вела себя так, будто не замечала всех его жестокостей, тем самым наказывая меня вдвойне. Ребенок думает, что получает по заслугам, а когда осознает, что на детей этот закон не распространяется, у него возникает чувство жалости к себе. Ни один ребенок не заслуживает

жестокого обращения».

«Ты совершенно прав, — сказала Лотта доброжелательно, — я сама не знаю, откуда у меня такое отвращение к самосостраданию».

«Amor fati, — вставил я, — ты принимаешь судьбу такой, какая она есть, плохой или хорошей».

Лотта замолчала на мгновение и задумчиво посмотрела на меня.

«Это правда, дорогой», — сказала она с нотками благодарности в голосе.

По реакции Акселя Ландауэра я заметил, что мы впервые вступили с ним в борьбу и что в тот момент он мне завидовал.

«Но ты наверняка жалела себя, когда внезапно умер Тобиас?» — спросил он.

«Ни одной секунды», — искренно ответила Лотта, и я с гордостью почувствовал, что одержал победу.

Ужинать, по просьбе Лотты, мы решили дома и сделали заказ в одной из служб доставки, коими был богат город.

«Да будь благословен двадцатый век, в котором все это возможно!» — восклицала она.

Мы выбрали индонезийскую кухню, и я начал диктовать по телефону заказ, в то время как Аксель и Лотта по очереди выкрикивали названия различных блюд, которые непременно должны были оказаться сегодня на нашем столе. В итоге через сорок пять минут я принимал из рук молодого человека пять пластиковых пакетов с двадцатью теплыми алюминиевыми емкостями с ароматной едой, и вскоре на столе уже не хватало места, чтобы разместить все эти бесчисленные мисочки и тарелочки. Самое поразительное, что два часа спустя они уже были почти пусты, в основном благодаря неуемному аппетиту Акселя Ландауэра и его неспособности остановиться, пока еда еще не съедена.

«Бога ради, Макс, убери от меня эту вкуснотищу», — умолял он, когда оставалось лишь немного риса, одно яйцо, бутерброд с гусиным мясом и половина макрели.

Во время ужина он вкратце изложил содержание своего нового романа, чтобы мне стало ясно,

зачем ему понадобились более глубокие знания по психологии серийных убийц.

«Я задумал роман об убийце с жалостливым сердцем», — сказал он, но, по его словам, он мало знал даже об обычных убийцах, которые были лишены сострадания. Единственное, в чем он, по собственному признанию, действительно разбирался, была наследственность, но, судя по всему, сочувствие не передавалось с генами. Во время беседы Лотта несколько раз просила меня записать названия книг и статей, которые приходили ей в голову, чтобы затем найти их в библиотеке Таллича и подарить Акселю. Она рассказала нам, как однажды вместе с Талличем путешествовала по Америке как раз в то время, когда всю страну лихорадило перед арестом серийного убийцы Джефри Дамера.

«Я всегда содрогалась от одних только историй Тобиаса, — говорила она, — но по-настоящему испугалась, увидев Джефри Дамера в новостях Си-эн-эн. Мы рассматриваем лица убийц, желая отыскать доказательства их отвратительной сущности — в форме губ и особенно в глазах, в которых обязательно должна скрываться тайна их греховности. Мы надеемся на это, мы хотим этого, потому что так было бы справедливо и

потому что нам необходимо восстановить наше зыбкое чувство безопасности. И вот я сижу в отеле где-то в Сан-Франциско, и вдруг на экране телевизора появляется блондин из Милуоки. Мое сердце останавливается. Он в наручниках, руки за спиной. Полицейский ведет его под локоть. Джефри Дамер одет в полосатую рубашку с короткими рукавами, на лице однодневная щетина. В то время как женщина-комментатор типичным американским голосом с неестественным равнодушием описывает совершенные им ужасные убийства, я думаю о том, что им вполне мог бы быть мой брат. У убийцы ангельская прозрачная кожа, какая бывает у блондинов и рыжеволосых людей и какая была у нашего Тимми; его фигура и походка такие же, как у моего брата Михаэла, а мягкий и слегка смущенный взгляд — как у нашего Юста. В нем нет ничего, совершенно ничего, что выдавало бы человека, который заманил, убил, изнасиловал, порезал на куски, сварил и съел семнадцать мальчиков. На нижней полке в его холодильнике была найдена свежеотрубленная голова, целый запас голов — в морозилке, а в квартире валялись обглоданные черепа, вырванные сердца, руки и пенисы. Все это никак не читалось у него на лице. Несколько дней подряд

я покупала газеты и журналы, посвящавшие статьи симпатичному, скромному серийному убийце из Милуоки. Тексты меня не интересовали. В легкой панике я вглядывалась в фотографии этого молодого человека, каждый раз пытаясь убедить себя, что при ближайшем рассмотрении его глаза выглядят ужасающе пустыми, а на лице — не смущение, а холодное безразличие».

Лотта рассказала, что Джефри Дамер был арестован через несколько месяцев после выхода на экран «Молчания ягнят». Мы все трое согласились с тем, что с удовольствием посмотрели этот фильм, а великолепная игра Энтони Хопкинса в роли каннибала Ганнибала была выше всяческих похвал. Изображая заключительную сцену (когда после побега Ганнибал из автомата звонит Клэрис — Джуди Фостер и, наблюдая угловым зрением за своей следующей жертвой, заканчивает разговор фразой: «I have to go, Clarice. I'm having an old friend for dinner»)[18], Лотта впала в то безумное веселье, которое было мне уже хорошо знакомо. Смахнув слезы от смеха, она напомнила нам с Акселем другую сцену, нами уже забытую, но столь важную для нее, что в свое время все за-

[18] Примечания: 18
Я должен идти, Клэрис. У меня к обеду старый друг (*англ.*).

писала и теперь почти дословно процитировала:

«Ганнибал сидит в своей огромной клетке и в последний раз один на один говорит с Клэрис. В разговоре она должна разузнать у него то, что поможет найти другого убийцу. Ганнибал в наилучшей форме. Он издевательски медлителен. Он не дает информации, не услышав взамен какой-нибудь истории из ее жизни. Не разглашая имени убийцы, он заставляет Клэрис думать логично и ясно, осмысливая то, что ей уже известно. Все, что она о нем должна знать, уже записано, говорит он ей, все это уже есть в деле. Подумай, Клэрис, чем этот человек занимается? Убивает — отвечает она. Ах, говорит Ганнибал, это же пустяк. Какую потребность удовлетворяет он, убивая? Она дает неправильный ответ, и Ганнибал продолжает: «Он жаждет. В действительности он жаждет быть тем, кем являешься ты. Все мы жаждем того, что ежедневно видим».

Лотта обвела нас сияющим от удовольствия взглядом, как будто хотела сказать, что это и есть самое важное, но, очевидно, заметила по нашим глазам, что мы так ничего и не поняли. Аксель попытался ее разговорить, рассказав о другом убийце, которому просто необходима была кожа убитых им женщин.

«У него ведь было какое-то сексуальное расстройство, верно? И он сдирал с женщин кожу, чтобы сделать себе платье и выглядеть как женщина?» — спросил он.

«Подумай, Аксель, подумай, — ответила Лотта с интонацией Ганнибала и его же медлительностью. — Думай шире, ассоциативно, интерпретируй, абстрагируйся. Кожа — это пустяк. Что говорит Ганнибал? Что убийца стремится стать тем, кем являешься ты. Он хочет получить душу, положение, соблазнительность и предполагаемое счастье другого человека — в данном случае женщины. Не какой-то определенной женщины, а женщины вообще. Он желает чего-то неосязаемого, но имеет дело с плотью и кровью».

Лотта усмехнулась.

«В чем дело? — спросил я. — Почему ты смеешься?»

«Потому что я завела свою любимую пластинку, — ответила она, улыбаясь, — потому что я опять уселась на своего любимого конька, которого давно приручила».

«Серая беседковая птичка», — сказал я, понимая, что Аксель не воспримет этой реплики.

«Вы наверняка читали книгу Маслоу об иерархии потребностей, — продолжала Лотта, не

обращая внимания на мои намеки. — Он выделяет четыре уровня. К низшему относится потребность утолять голод. После того как эта потребность удовлетворена, высвобождается пространство для следующей потребности — в жилище. В безопасном и защищенном месте рождается желание любить. Обретя свою половину и все с этим связанное, человек восходит на высший и самый сложный уровень, где достигает уважения, достоинства — того, что мы называем общественным статусом. Американский коллега Тобиаса, Колин Уилсон, посвятил серийным убийцам несколько популярных книг. В одной из них он объяснял участившиеся с пятидесятых годов преступления такого рода именно потребностью в признании — вершиной этой иерархии. Тобиас всегда противопоставлял культ звездности Нового Света и теологию Старого, утверждая, что в Америке серийных убийств совершается больше, чем в Европе, потому что там убийство приносит славу и убийца хочет занять место среди звезд, а мы в Европе, слава Богу, стремимся прежде всего стать праведниками, а уж после этого обладателями сомнительной славы».

Внимательно слушая ее слова, я с самого начала пытался не обращать внимания на растущее

внутри меня странное беспокойство. В какой-то момент я понял, откуда оно взялось: Лотта приписывала Талличу идеи, которые на самом деле принадлежали ей. Они не только были намечены во «Всецело вашем»; в библиотеке, в переведенном романе «Крик ягненка» Томаса Харриса, послужившем основой для фильма «Молчание ягнят», я обнаружил записи ее впечатлений об этом фильме, примерно в тех же выражениях. Я наткнулся на них, следуя ссылке в одной из черных папок, когда по ее заданию разыскивал все, что относилось к теме «*дух и тело*». Позже я сожалел, что в тот вечер не оставил свои подозрения при себе, — вероятно, я был раздражен внутренней схваткой с Акселем Ландауэром, которую сам себе вообразил, и в этом боевом настроении хотел одержать еще одну победу. Явно под впечатлением от ее рассказа, Аксель спросил Лотту, в какой публикации можно найти эти исследования Тобиаса, и разочаровался, услышав в ответ, что речь шла о последней лекции Таллича на конгрессе в Вирджинии, которая никогда не публиковалась.

«Эта идея о разнице между новым культом звездности и старым культом праведности принадлежала Талличу или родилась прежде в твоей

голове?» — спросил я.

В тот день я спустился вниз с твердым намерением задать Лотте хороший вопрос, а в результате получил от нее крайне резкий, даже по ее меркам, упрек в глупости.

«Что ты хочешь узнать, висит ли на каждой идее табличка с именем? Разницу между звездой и праведником, несомненно, уже давно разглядели сотни других. Эта мысль не принадлежит ни Тобиасу, ни мне, у нее нет единственного собственника, это ведь не машина и не дом! И если долго живешь с человеком, как я с Тобиасом, то делишь с ним все, вместе с ним думаешь и делаешь какие-то выводы. И для того чтобы что-то понять, нужно связать очевидные наблюдения с чем-то, возможно, менее очевидным, таким, как серийные убийства и Бог знает что еще».

Закончив свою отповедь, она перевела дыхание и, казалось, сама испугалась своего тона.

«Извините, — сказала она утомленно. — Уже поздно. Я устала и пойду спать».

Она поцеловала нас с Акселем и, не проронив больше ни слова, отправилась к себе.

Врач предупреждал, что эта болезнь у всех протекает по-разному, начинаясь, однако, у большинства пациентов в области бедер и ног. У Лотты все происходило иначе. Боль пронзила плечевые суставы, руки, мышцы запястий и кистей.

«Она знает, как взять меня за горло», — сказала Лотта в тот день, когда попросила моей помощи.

Я помнил о присущем ей, порой далеко заходящем анимизме, поэтому такое одушевление болезни ничуть не удивило меня, и я спросил, есть ли у нее имя.»

«Нет, это просто судьба, моя судьба, она женского рода и говорящая».

Боли в руках начались, по ее словам, уже несколько недель назад. На мой негодующий вопрос, почему она не сказала мне об этом раньше, она ответила, что терпеть не может жаловаться и боится, что впереди будет еще достаточно нытья по поводу ее недугов.

Уже довольно долго она работала над эссе, о котором почти ничего не рассказывала.

«Пока мне самой не станет ясно, что это будет, мне трудно об этом говорить. Я даже не знаю, например, пишу ли я его для большого романа, что было бы естественно, или с какой-то другой

целью».

Теперь пришло время, когда я понадобился ей, чтобы записывать под диктовку. Нам предстояло испробовать способ, в эффективности которого она всегда сомневалась.

«Я настолько привыкла думать и записывать мысли, что не представляю, смогу ли это делать устно. Боюсь, что процесс мышления имеет сильную зрительную связь со словами. Произнося их, я не буду их видеть».

«Ты недооцениваешь себя, — попытался я ее успокоить, — иногда я замечаю, что ты думаешь и произносишь вслух».

«Правда?»

«Да», — сказал я. Это на самом деле было так.

Это случилось уже в третий раз — кружка с утренним кофе выпала из ее рук. Она ожидала, пока боль в руках немного утихнет, после чего подметала осколки и вытирала пролитый на пол кофе. Иногда она подолгу сидела за компьютером, прислушиваясь к себе в надежде, что в ее тело снова вернутся силы, но это беспомощное ожидание только выводило ее из себя.

«В то время как мою голову разрывает от мыслей, я не в состоянии работать руками, чтобы превратить их в осязаемые слова и предложения. Потом силы возвращаются, но к тому моменту я чувствую себя настолько измученной от нетерпения и раздражения, что не могу выразить и трети того, что во мне накопилось».

«Как ты хочешь работать? — спросил я. — Предпочитаешь ли ты молчаливого секретаря, прилежно записывающего то, что ты говоришь, или заинтересованного собеседника?»

«Не знаю, Макс, — ответила она, наморщив лоб от напряжения, — черт возьми, я действительно не знаю».

Она спросила меня, упоминал ли ее врач в беседах со мной о каких-нибудь полезных при ее болезни вещах: обилии свежих овощей и фруктов, например, или соленом морском воздухе.

«Я думаю, не поехать ли нам в Бретань, — сказала она нерешительно, — на недельку или дней на десять, вдруг там мне станет лучше».

«Конечно», — поддержал ее я. У меня не хватало духу признать, что лучше не станет. «Однажды начавшись, болезнь может только прогрессировать, — вспомнились мне слова врача, — другого направления она не знает».

Решившись ехать, она радостно начала готовиться к путешествию, предвкушая уединение, морской воздух и шум океана. Следуя ее указаниям, я собрал три коробки с книгами, которые могли понадобиться в течение двух недель. Она и там хотела работать, поскольку считала, что написание книги не терпит проволочек. За день до нашего отъезда она быстро и четко продиктовала мне список из примерно сорока книг, между которыми, к своему удивлению, я не смог отыскать ничего общего. Я словно укладывал в коробки тайну, которая через пару недель должна была раскрыться. В голове Лотты эти книги соподчинялись пока недоступной мне логике, которую она объяснит мне позже, и тогда я пойму, что связывает Карри ван Брюгген с Джейн Боулс, какие братские чувства свели вместе Энди Уорхола и Трумэна Капоте, что общего у Людвига Витгенштейна[19] с Августином и в чем причина соседства Кафки и Фрейда. Одна из коробок была целиком набита словарями: трехтомник

[19] Примечания: 19

Jane Bowles (1917–1973), американская писательница. Andy Warhol (1928–1987), американский художник и кинематографист, представитель поп-арта. Truman Capote (1924–1984), американский писатель. Ludwig Wittgenstein (1889–1951), австрийский философ.

Ван Дале[20], нидерландский и иностранные этимологические словари, Уэбстер, теологический словарь Бринка, старый экземпляр словаря латинского языка Ван Вагенинга и Мюллера, а также греко-нидерландский словарь.

«Я всегда хочу знать происхождение не только историй, но и слов, — говорила она. — Нет ничего приятнее, чем странствовать по книгам от одного слова к другому и следить за тем, как их корни переплетаются».

Поскольку в списке значилось несколько биографий из шкафа в гостиной, я тут же вспомнил о вечере, проведенном в компании с Акселем Ландауэром, о своем вопросе, с которым пришел тогда к ней и который сейчас, после ее просьбы упаковать биографии Ленни Брюса, Малколма Лоури, Джерзи Косинского[21] и Джейн Боулс, отпал сам собой. Невольно всплыла в Памяти неприятная сцена, которой закончился тот вечер и смысл которой Лотта так и не раскрыла.

«Помнишь тот вечер с Акселем, когда мы ели

---

[20] Примечания: 20

Толковый словарь нидерландского языка.

[21] Примечания: 21

Lenny Bruce (1925–1966), американский комик. Malcolm Lowry (1909–1957), английский писатель. Jerzy Kosinski (1933–1991), американский писатель.

индонезийскую еду?» — спросил я, глядя в пронизывающие глаза Джейн Боулс, которая, держа в правой руке сигарету, казалось, облокотилась на корешок своей биографии «A Little Original Sin»[22]. Лотта лежала на диване в другой комнате, и я не мог ее видеть, так как находился в задней части дома, где стояли книжные шкафы.

«Да! — крикнула она в ответ. — А что?»

Прервав сборы, я направился к ней, придвинул стул к дивану, сел рядом и спросил, почему в тот вечер она так рассердилась, когда я предположил, что она приписывает свои идеи господину Талличу. Она ответила не сразу, задумалась и посмотрела мне прямо в глаза.

«Я была раздосадована, Макс, — сказала она необыкновенно мягко. Ее глаза блестели и с каждой секундой становились все более красными — при этом она не плакала и не терла их рукой. Это был признак печали, который я замечал уже не раз. — Мне было досадно, что ты не Тобиас, — с трудом выговорила она. — Ты сделал неудачное замечание, и мне стало ясно, что ты еще не добрался до сути нашей будущей книги; это разочаровало и разозлило меня. Я, наверно,

---

[22] Примечания: 22
«Маленький первородный грех».

слишком преждевременно рассчитывала на то, что ты понимаешь меня с полуслова, но ты не Тобиас, и иногда я об этом забываю. Осознавая это, я чувствую себя виноватой — по отношению к Тобиасу, по отношению к тебе, а когда я чувствую себя виноватой, то лучше не попадаться мне под руку».

Глубоко сожалея о том, что высказался в тот вечер о происхождении идей, я взял ее за руку и сказал, что ужасно не хотел бы ее разочаровывать.

«Вообще-то ты можешь радоваться, — сказала она, поглаживая большим пальцем верхнюю часть моей ладони, — я разочаровываюсь только в тех, кого люблю».

«Я тоже вас люблю», — сказал я.

«Да», — сказала она.

На следующий день ни свет ни заря мы отправились в Бретань. До сих пор мы бывали там лишь летом, но в этом году выдалась ранняя осень, и уже к середине сентября деревья запылали желто-золотыми огоньками. Даже в городе ощущался земляной аромат мокрой листвы. В то утро она чувствовала себя хорошо и первые несколько часов вела машину. Наш последний разговор оставил ощущение умиротворения — другого слова мой несовершенный язык подобрать не мог. В тот вечер я еще немного посидел рядом с ней, держа ее за руку. Она закрыла глаза и через несколько минут заснула. Никогда прежде у меня не было возможности так долго и безнаказанно смотреть на нее, и я невольно думал об увядании и смерти. Не знаю, сколько я так просидел. Осторожно высвободив руку, я стал упаковывать собранные книги, компьютеры и аккуратно сложенную одежду, которую она приготовила в своей спальне. Проснувшись от треска огня в камине, который я для нее разжег, она посмотрела на меня сонным и смущенным взглядом.

«Иногда печаль бывает такой сладкой», — сказала она.

Мы провели в Бретани еще два сезона, когда она сама водила машину. На следующий год я отвез ее туда в фургоне, где умещалось узкое элегантное инвалидное кресло. Палками, размеры которых снял для нее доктор, она так и не воспользовалась, потому что в плечах и в руках было слишком мало сил, чтобы на них опираться. У нее выдавались хорошие и плохие дни, но врач оказался прав: болезнь не знала пути назад. Поединок с судьбой, с которой она внешне как будто примирилась, начался во время нашего осеннего путешествия на побережье Бретани, куда мы отправились, нагруженные книгами, и она вся светилась от удовольствия, тогда еще сидя за рулем.

В доме на холме я занимал просторный верхний этаж под крышей, а Лотта спала и работала в двух комнатах на первом этаже. Центром дома была кухня, где посередине стоял овальный деревянный стол, за которым могло уместиться не менее десяти человек. Комнаты Лотты находились рядом с кухней. За прошедшие годы мы закрепили ритуалы, сопровождавшие наше пребывание в этом доме. Я, как правило, просыпался первым, шел вниз и ставил кофе. Иногда спускался с холма и прогуливался по пляжу, однако в тот

год, когда начались боли, я больше не решался на это, хотя и знал, что в любой момент она могла связаться со мной по пейджеру или мобильному телефону. Уже в самое первое утро, копошась на кухне, я услышал звуки, доносившиеся из комнаты Лотты. Она охала, фыркала, время от времени ругалась и ходила из угла в угол, словно волк. Когда она распахнула дверь на кухню, я впервые увидел, что делает с ней боль, взбороздившая ее лицо и отвязавшая беспомощную злобу. С безжизненно висевшими вдоль тела руками она стояла в дверном проеме и смотрела на меня глазами, в которых были бессилие и протест.

«Каждое напечатанное слово причиняет мне боль», — прошептала она, стиснув зубы.

«Я помогу тебе».

«Хорошо».

В тот год в Бретани, когда у нее начались боли и я стал «надстройкой» к ее голове, именно тогда моя любовь к Лотте Инден (так же как и ее болезнь) уже не могла повернуть назад. В ее дневниках мне встретилась лишь одна фраза о *любви,* и каждый раз, когда я смотрел на Лотту, или слушал, или же записывал ее слова, эта фраза звучала в моих ушах.

«Любящее сердце вечно голодно», — писала

она, считая сущностью любви то, что ее всегда не хватает.

У нее вошло в привычку время от времени сжимать мое запястье, проверяя силу своей правой руки. По ее словам, боль стала более явной и рельефной, но иногда она как будто истощала свои ресурсы и переходила в приглушенное состояние, а все тело погружалось в отвратительную иллюзию, когда не ясно, твои ли это руки и ноги и выполняют ли они команды мозга.

«Можно ущипнуть?» — спрашивала она, ухватив мою руку, и я должен был ее убедить, что мне было больно.

Отпечатки ее пальцев в моей плоти и работа над книгой с каждым днем делали нас с Лоттой все ближе. Сказать «ближе» будет, пожалуй, не совсем верно. Скорее я все больше и больше растворялся в ней, и мы вместе извлекали на свет то, что было спрятано у нее внутри.

Позволив помогать ей в написании эссе, она рассказала мне, что тема этого эссе была частью обширной композиции большого романа.

«Слово «нарциссизм» набило мне оскомину, — начала она. — А когда что-то набивает мне оскомину, я хочу знать почему. Я принимаюсь размышлять. Если слово «нарциссизм» прозвучит в разговоре, за ним непременно последует обвинение, и эта слепая тупость приводит меня в бешенство. Подобное суждение было произведено на свет умами нескольких человек, а позднее получило всеобщее распространение благодаря книге Кристофера Лаша «Культура нарциссизма». С тех пор «нарциссизм» — модное понятие. Тот, кто способен мыслить самостоятельно, избегает модных слов, как болезни, и презирает тех, кто их повторяет. Я не говорю, что книга Лаша плохая или неправдивая, но она построена на весьма спорных предположениях. Прежде всего, в ней делается смелое и довольно заманчивое утверждение, что для каждого столетия характерен определенный тип личности. Так, двадцатый век, и особенно вторая его половина, навязал нам равнодушного, поглощенного собой, эгоманиакального нарцисса, неспособного на внезапно вспыхивающие, настоящие, глубокие

чувства, ха-ха, на длительные серьезные отношения или хорошую работу; легкого и обаятельного в общении, постоянно озабоченного тем, какое впечатление он производит на окружающих, и вконец измученного сквозящей пустотой в собственном сердце. Я сама слышу, как меня и людей моего поколения беспрестанно нарекают бесчувственными эгоцентристами. Подобные эпитеты исходят от кучки солипсистов, убежденных в том, что, в век сплошных нарциссов, сами они не имеют к этому отношения, ведь критиканы нарциссизма, несомненно, знают, как увернуться от веяний времени, в котором они живут. «А что я, собственно, по-настоящему чувствую?» — день-деньской пытает себя нарцисс. Не помню, однако, чтобы я когда-нибудь задавала себе похожий вопрос. Лаш, конечно, продолжил то, чем уже занимались до него другие. И это естественно — умы при соприкосновении оттачиваются. Думаю, что львиную долю он почерпнул в последней части «Падения общественного человека» Ричарда Сеннетта — книги, по-моему, не только более умной и увлекательной, но и лишенной того возмущенного и консервативного тона, который взял в своей работе Лаш. По сути, он ратует за восстановление семейных ценностей, религи-

озной общины, соседской взаимовыручки и так далее. Все эти стенания по утраченным благам слышатся в последнее время с самых разных сторон. Сеннетт же приписывает возникновение нарциссизма более интересному явлению, а именно стиранию граней между общественным и личным».

«Да, большой роман», — прервал ее я.

«Макс, я сейчас тебя поцелую», — сказала она, разыгрывая благодарность.

«Сколько ты уже написала?»

«Примерно столько же».

«К чему ты ведешь?» — спросил я.

«К тому же, к чему и всегда, — произнесла она после секундного замешательства и ухмыльнулась. — Ничего нет нового под солнцем, то, в чем другие усматривают своеобычие двадцатого века, уходит корнями в извечную человеческую борьбу».

«Между?»

«Да ты и сам знаешь — между внутренним и внешним, между «я» и «ты», между подлинным и мнимым, между реальным и воображаемым. Мне осточертели критики и их пустое метание грома и молний в сторону автобиографической литературы. Их гневные речи сродни обвинени-

ям всех и вся в нарциссизме. Один якобы ворует что-то у другого и тут же норовит вынести на публику свою находку. Но откуда же тогда берется литература? Они мыслят согласно предписанным правилам, не выходя за рамки одного-единственного слова, и это слово — «клетка». Никто из них и не пытается даже найти историческое, социологическое или какое-либо другое объяснение все чаще встречающемуся явлению, не говоря уже о преобразовании и переплетении жанров в целом. Клеймо «нарциссовый» и «автобиографический» легковесно и не поддается анализу. Боже мой! Беккет, Бродки, Джойс, Дюрас, Жене, Павезе, Пруст, Мультатули, Капоте, Рот, Достоевский — вся, черт возьми, мировая литература автобиографична. Но это не в счет. Вот неореализм, например, другое дело. Критики не утруждают себя более поиском объяснений, они лишь вешают ярлыки и осуждают. Кроме поэзии, популярной песни и некоторых видов прозы, роман — единственная художественная форма, где можно запечатлеть феномен самосозерцания и страшного одиночества человеческой мысли, потому что все другие жанры искусства отводят вам роль стороннего наблюдателя. Если самосозерцание вдруг выходит в литературе на первый

план, то это связано с конкретным моментом в истории, с позицией литературы и ее отличием от средств массовой информации».

Лотту как будто стошнило этими словами, и от возбуждения ее щеки загорелись румянцем.

«Лаш и Сеннетт — американцы до мозга костей, — вмешался я, вволю насладившись ее пылкой речью. — Мы здесь, наверно, чуточку больше читали Гераклита, Платона, Аристотеля, Августина, чем среднестатистический американец».

«Не знаю, насколько это так, — ответила она. — Но уверена, что американцы глубже проникнуты тем, чего мы не приемлем из чувства гордости за нашу античную культуру. Мы слишком много морализируем относительно греческой мифологии, каббалы, иудейской и христианской символики и чудес алхимии, тогда как они убеждены, что Бэтмен, Дональд Дак, Джеймс Бонд и Коломбо — фигуры не менее важные и что, пренебрегая всем новым, что дают нам сегодня кино, телевидение, сотовая и пейджинговая связь, Интернет и виртуальный секс, постичь реальный мир невозможно».

«Но в любом случае у нас есть война, которая нам гораздо ближе американских ценностей.

Возможно ли говорить о человеке двадцатого века, ни словом не обмолвившись о Второй мировой войне?»

Лотта будто не слышала моей реплики.

«Мне важно показать, что феномен самосозерцания стар как мир и что повышенная степень самосозерцания возникает во все времена при одних и тех же обстоятельствах, и именно тогда, когда необходимо провести черту между оригиналом и подделкой, правдой и ложью, настоящим и искусственным, реальностью и фантазией, умолчанием и признанием. Не думаю, что люди по сути своей стали другими. Скорее во второй половине двадцатого столетия изменился смысл некоторых понятий. Например, «тайна» или «вымысел» — сегодня они имеют совершенно иное значение, нежели век тому назад. Если речь заходит о кризисе, то только потому, что не удается разглядеть разницу между чем-то одним и другим, ставшую более размытой и нечеткой».

По ее лицу и движению плеч я видел, как она хотела дотянуться до ручки и блокнота, лежавших перед ней на столе. Это ей не удалось.

«Ты можешь кое-что записать?» — спросила она, глядя в сторону, чтобы я не заметил, как она покраснела. Понимая, что ей будет легче гово-

рить, если я отвернусь, я сел к ней спиной, взял ручку и бумагу.

«Каждая голова — это архив, а в нем хранятся воспоминания, — диктовала она практически без заминок. — Они приходят к нам извне. Мы никогда не были в этом мире одни. Нас всегда окружали другие люди. Их слова и поступки, их глупости и мудрые решения, их сострадательные и осуждающие взгляды оседали в памяти нашего мозга, нашей кожи и наших внутренностей. Родившись, мы легли в люльку, укрытые одеялом тысячелетней истории, не имея возможности выбраться из-под него и ничего не знать о прошлом».

Вздохнув, она остановилась.

«Я сказала: “глупости”?»

«Да».

«Исправь, пожалуй, на “ошибки”».

Письма, которые Лотта просила достать, хранились в папке «С». Конверты были надписаны аккуратным и старательным почерком.

«Мне грустно. Я хочу услышать мамин голос», — сказала Лотта в то утро и объяснила, где я смогу найти несколько писем от ее матери. Прошлой ночью она видела ее во сне и очнулась от этого сна очень печальная.

«Я, конечно, рада, что родители не дожили до этих дней и не увидят моего увядания, — сказала она с тоской в глазах. — Такова иерархия справедливости — дети хоронят родителей. Но сейчас я отдала бы все на свете, чтобы они оказались здесь и утешили меня в моем прощании. У меня предсмертная грусть, Макс».

«Вся наша жизнь — сплошная предсмертная грусть», — подыграл я, вызвав ее улыбку.

«Ты веришь в жизнь после смерти или что-нибудь в этом духе?» — спросил я осторожно.

«Я не верю, что умершие потом живут, нет, хотя очень хотелось бы. Но в моих снах они ходят, как живые: мама — бодрой походкой и с гордой прямой спиной, отец — спокойный и уверенный, с сильным гибким телом, ТТ, нервно и трогательно семенящий. И тогда я хочу их схватить и вытащить из фильма сновидений, снова опустить на

землю и быть с ними рядом. Вот эта-то трухлявая иллюзия осязаемости и доставляет мне столько боли при пробуждении».

«А мне стало легче, когда умер мой отец», — сказал я.

«Я знаю, дорогой. И в этом я определенно тебе не завидую».

«*11 апреля 1990 года*

Дорогая моя доченька,

спасибо тебе за чудесное письмо. Сначала я прочла его сама, затем показала папе, и мы оба пустили слезу — говорю тебе об этом откровенно, ведь ничего зазорного в этом нет. Родители всегда стараются сделать все, что в их силах. Приятно, когда потом дети благодарны им за это. Не могу передать, как мы счастливы. Все в этой жизни делают ошибки — мы хорошо это понимаем. Но, доченька, раньше приходилось все познавать самой. Это сейчас есть программы по телевизору, книжки, детские сады и курсы. Тогда этого не было. Мы ежедневно ходили в церковь и молились за счастье наших детей — десять бусинок на четках за каждого ребенка, а иногда и двадцать, когда вы должны были сдавать экзамены или, повзрослев, отправлялись в далекие путешествия. С Божьей помощью вы хорошо устроились, и я день и ночь продолжаю благодарить Его за это.

Ты задаешь трудные вопросы, девочка, но папа говорит, что ты всегда их задавала. Мы тоже часто спрашиваем себя, почему вы стали такими, какие вы есть, и порой теряемся в догадках. Нам, простым людям, зачастую было нелегко справляться с детьми, которые так хорошо учились в

школе, в один день узнавая больше, чем мы за всю свою жизнь, и чьи интересы отличались от интересов других детей. Как родителей нас это очень беспокоило. Сейчас мы, конечно, гордимся нашим Юстом, когда видим его по телевизору. Но тогда нам трудно было понять его детские мечты о театральной школе. Никто из родственников не имел детей с такими ненормальными желаниями, и мы хотели, чтобы он с его мозгами просто пошел работать, так же как, например, его двоюродный брат, который тоже отлично закончил школу и продолжил учиться на инженера. Театр обычно устраивался дома как развлечение, и мы не считали это профессией для нашего мальчика, тревожась, что в будущем он не сможет заработать этим себе на хлеб, и зная о тех странных вещах, которые происходят в актерском мире: алкоголизме, наркотиках и т. д. То, что наш Михаэл стал ветеринаром, а наш Тимми — учителем истории, еще можно как-то объяснить, здесь больше семейного. Твой дедушка по папиной линии отлично разбирался в лошадях, и нашего маленького Мика невозможно было прогнать с фермы. Удивительно, как твоему братику удавалось вить веревки из такого неразговорчивого человека, как твой дед. А когда они, держась за

руки, шли по полю, то ком подступал к горлу — так это было прекрасно. Твой дед был суровым, но очень добродетельным человеком, и, хотя жили они тогда крайне замкнуто, любой мог рассчитывать на его помощь, если у кого-то заболевала скотина или нужно было выбрать лошадь. Думаю, что именно от него Михаэл унаследовал свою любовь к животным и этот отшельнический образ жизни, который он ведет, поселившись в деревне. Наш младшенький — это другая тема. Не хочу хвастаться, но, по-моему, страсть к истории у него от меня, ведь я тоже люблю историю; когда он родился — вы были уже постарше, — у меня появилось больше времени для самой себя, и по вечерам я читала книжки, рассказывая потом Тимми на ночь про Наполеона и Людовика IV. Вот, вроде бы всех я перечислила, кроме тебя. Но на сегодня я, пожалуй, закончу. О, уже больше одиннадцати, и папа тоже сидит и зевает, а у меня даже сводит руку, ведь я не привыкла писать так долго. В отличие от тебя, да? Спокойной ночи, мой милый ребенок, и до завтра. Пока.

Доброе утро, Лотик, это снова мама. Хорошо спала? Мы с папой тоже хорошо. Папа только что позавтракал и ушел на работу. Он просил, чтобы я рассказала тебе историю про Человека с Крюком, которая так много говорит о тебе. От тебя мы меньше всего ожидали, что ты станешь тем, кто ты есть сейчас. Ты была, словно ртуть. Тебе не исполнилось еще и шести недель — а ты была уже такой подвижной, вечно чем-то занималась, и я ни на секунду не спускала с тебя глаз. Не успевала я отвернуться, как ты, скатившись со стола, лежала на полу, сначала испуганно, а затем радостно визжала от удавшейся шутки. «Она хочет научиться ездить на велосипеде прежде, чем ходить», — говорил папа. Здорово, да? Ты всегда была веселой и жизнерадостной, доставляя нам много приятных минут. В школе ты тоже была шибко деловой, и нас ой как часто вызывали учителя — ведь ты могла взбудоражить весь класс и отказывалась делать то, что тебе не нравилось. По поведению в твоем дневнике всегда были замечания. Зато ты умела читать и писать еще до того, как пошла в первый класс. И мы ломали голову, у кого ты этому научилась. Казалось, что ты владела этим от природы, и мы с папой считали это маленьким чудом. Но даже тогда мы

и думать не смели, что ты станешь писателем. Ты росла мальчиком: взбиралась на самые высокие деревья, прыгала на проезжавшие мимо повозки и делала другие опасные вещи, которых девочки обычно не делают. Мы беспокоились за тебя, ведь ты была тем еще сорванцом и часто приходила домой с разбитыми коленками или головой; иногда ты пыталась от меня это скрыть и просыпалась на утро на испачканных кровью подушках. Помнишь? Не воспринимай это как упрек, дорогая, но, когда ты стала старше и спокойнее, твоя жизнь превратилась для нас в тайну, и мы с папой понятия не имели, что творится у тебя внутри. Как бы весела и жизнерадостна ты ни была, мы не могли до тебя достучаться. Странно было иметь ребенка, такого непосредственного и жизнелюбивого и в то же время такого замкнутого. Когда твои братья приходили ко мне со своими невзгодами, я как мать старалась дать им хороший совет. Ты же улаживала все свои проблемы сама, а если я, случалось, начинала тебя о них расспрашивать, ты обижалась, и мы ни на шаг не приближались друг к другу. «Оставь Лотика в покое, она сама справится», — говорил тогда папа, но и у него не всегда было легко на сердце, хотя он и куражился, но всю ночь потом

ворочался и изводил себя грустными мыслями. Мы беспокоились за вас, моя девочка, но я думаю, что все родители беспокоятся за своих детей. Правда? Говорят, дети — это на всю жизнь. Так оно и есть. Михаэл, Юст и ты росли в непонятное для нас время, со всей этой бит-музыкой, длинными волосами и джинсами. Нам было нелегко. Каждый год папе присылали в подарок записную книжку в твердой обложке. Тебе было тогда тринадцать или около того, точно не помню, когда однажды он получил сразу две такие книжки. Одну он отдал тебе, ведь ты любила все, что сделано из бумаги, помнишь? И с тех пор ты часами сидела в своей комнате и писала. Ты, наверно, не догадывалась, но в последующие годы он больше ни разу не получал две книжки сразу и всегда докупал вторую для тебя, никогда не признаваясь тебе в этом. Мило, да? Ты спрашиваешь, откуда у тебя все это, а я как мать не знаю ответа. Думаю, что у тебя это с двух сторон: замкнутость — по линии твоего отца, а резвость — по моей линии.

Однако пора ставить точку, моя девочка. Потому что сейчас вернется папа, чтобы перекусить, и мы вместе будем есть вчерашний фасолевый суп, который на следующий день еще вкуснее. Ты сама хорошо питаешься? Папа спрашивает, рас-

сказала ли я тебе историю о Человеке с Крюком, но я конечно же забыла. Давай в следующий раз, хорошо? Письмо и так получилось длинным, но тебе это должно понравиться. Старайся поменьше курить, Лотик. Мы с нетерпением ждем тебя к нам на следующей неделе. Пока. Крепко целуем тебя. Любящие тебя папа и мама».

В то утро, перед тем как отдать письма Лотте, я прочел одно из них. Никогда прежде я не представлял себе Лотту ребенком. Благодаря ее матери я с грустью увидел начало Лоттиной жизни — буйного, веселого малыша на одеяле, ради простой забавы приводящего в движение все, что может двигаться, и расплачивающегося за свою необузданную жизнерадостность первым падением. Это была та самая Лотта, которую сейчас я все чаще должен был поддерживать, поднимать, носить на руках, купать, водить в туалет и которая шептала мне при этом на ухо, что снова возвращается к началу.

Она удивленно посмотрела на меня, когда я протянул ей пачку писем.

«Мой милый кроткий Лотик, — сказал я, — ты была, словно ртуть».

«Так пишет моя мама?!» — воскликнула она расстроганно.

«Да».

«О, мама», — прошептала Лотта и со слезами на глазах стала разглядывать конверты.

«Это из-за почерка, — сказала она, оправдываясь. — Почерки и голоса умерших, которые были тебе дороги, кажутся такими живыми — и этот-то обман невыносим. Я словно наяву вижу, как она

сидит, склонившись над бумагой, и пишет. По почерку можно догадаться, как она задумывается над каждым словом, вспоминая уроки правописания, старается держаться ровных строчек и связывать буквы в словах».

«Ты любила ее», — произнес я с завистью в голосе, которая не ускользнула от нее.

«Да, — сказала она спокойно. — Я всегда очень любила своих родителей».

Перед тем как оставить Лотту наедине с письмами, я попросил ее рассказать мне потом историю о Человеке с Крюком.

«Хорошо», — охотно согласилась она, грустно улыбнувшись.

Вот эта история, которая, по мнению ее отца, так много говорила о Лотте.

«Усадьба моего деда по папиной линии стояла на берегу реки. Детьми мы обожали играть на лугу. Это был райский уголок. В излучине реки, за высокими деревьями никакие взрослые не могли помешать нашим забавам. Чтобы заставить нас держаться подальше от воды, родители говорили, что в реке живет Человек с Крюком, который забирает к себе маленьких детишек, когда те заходят в воду. Я не верила, но прощала взрослым эти маленькие хитрости. Для их же спокойствия я не вступала в спор и вела себя так, будто принимала эту сказку за чистую монету. По крайней мере, до того дня, когда мы с отцом отправились на реку вместе. «Смотри, — сказал он, указывая на водоворот, — вот там живет Человек с Крюком». Ну, это было уже слишком. То есть меня, конечно, можно дурачить, но не так откровенно. Я показала на другой водоворот подальше и простодушно спросила: «Человек с Крюком живет и там тоже?» Отец попался. «Да, — сказал он, — и там тоже». Я уже давно знала о недоступном нашему пониманию свойстве всемогущего Господа присутствовать повсюду в одно и то же время. Одного Бога было, по-моему, вполне

достаточно. «Получается, что Человек с Крюком — Бог?» — спросила я. Отец перепугался, чего, собственно, мне и было надо. Он поинтересовался, как я додумалась до такого, и я сказала, что всегда считала, что только Бог мог быть в нескольких местах одновременно. «Нет, — сдался тогда отец, и это было очень честно с его стороны. — Человек с Крюком — не Бог». Кажется, я еще сказала потом примирительно, что это, конечно, всего лишь сказка для детей, чтобы отогнать их от воды. И он это признал. «Только не проболтайся Тимми», — прошептал он, поднеся указательный палец к губам. Это не составляло никакого труда, ведь про подарки Деда Мороза я тоже всегда молчала».

Ко времени нашего отъезда из Бретани я уже раскрыл для себя если не все, то большую часть таинственных связей между книгами, которые мы привезли с собой. Порой речь шла об одной-единственной фразе, и на мой вопрос, зачем нужно было тащить с собой, на расстояние в тысячу двести километров, всю книгу, она отвечала, что расценивает это как своего рода дань.

«Раньше они брали меня за живое, теперь моя очередь брать их с собой повсюду».

Все эти годы меня продолжала удивлять точность, с которой она давала указания.

«Сегодня ты должен выписать для меня три фразы, — говорила она решительно. — Первая — из «Материальной жизни» Маргерит Дюрас — звучит примерно так: «Талант и гениальность требуют насилия над собой, так же как они требуют и смерти». Вторую поищешь в биографии Джейн Боулс. Там объясняется название книги — «A Little Original Sin». Это слова из стихотворения, написанного ею в двенадцать или тринадцать лет, с грамматическими ошибками, в альбом ее подружки. А с третьим будет посложнее. Я думаю, ты сможешь найти что-нибудь в примечаниях к «Прометею» Карри ван Брюгген. Возможно, это будет сразу несколько фраз, но все они об одном и

том же — о разнице между индивидуальностью и единообразием, впрочем, как и вся книга. Если не сможешь сам сделать выжимку, то принеси книгу мне».

Со временем я все яснее различал нить большого романа, и фразы, которые она просила меня отбирать и нанизывать, словно бусинки, представлялись мне уже не такими загадочными.

«Талант и гениальность требуют насилия над собой, так же как они требуют и смерти».

> *«For there is nothing orriginal about me,*
> *But a little orriginal sin.*
> *It was a separating sin, separateness itself becoming sin»*[23].

«Быть не таким, как другие, быть иным — это условие самосохранения. Потому мы и стремимся быть другими — то, что иногда нам кажется дурным характером, на самом деле есть необходимость, требование жизни, — второе “я”».

Лотта придумала простую схему, соединявшую в компьютере группы слов, которые я выписал для нее за прошедшие годы. Группы были объединены ключевым словом, которое она печатала прописными буквами. Раскрасневшаяся

---

[23] Примечания: 23

Ибо ничего нет во мне особого,
Лишь маленький первородный грех.
Это особый грех, а особость сама по себе грех
(*англ. с орфографич. ошибками*).

от азарта и удовольствия, она могла часами сидеть рядом со мной над этой схемой и увлеченно рассказывать об удивительных связях между «тайной», «прощанием», «непохожестью» и об их месте в нашем романе.

«Это почти само счастье», — говорила она в те минуты, обводя красной ручкой ключевые слова.

Маргарета сказала однажды, что такая тяга к структурированию, скорее всего, — следствие бессилия, желания подчинить своей власти все, чем невозможно обладать.

«Знаешь, почему ты всегда пытаешься все классифицировать?» — спросил я как-то Лотту.

«Чтобы лучше думалось, — ответила она без заминки. — Когда я смотрю фильмы о природе, то прихожу к выводу, что они еще более жуткие, чем самые жуткие фильмы ужасов. Я записываю свои впечатления и заношу их в рубрику «*настоящее-ненастоящее*». Рубрика — это уже заданное направление, а ее название — начало мысли. Фильмы о природе кажутся мне такими страшными, потому что они — о настоящем. Кадры, в которых один зверь разрывает на кусочки другого, абсолютно реальны — я вижу боль и смерть живого существа».

Я рассказал ей, что профессиональный психиатр имел на этот счет менее эмоциональное суждение.

«Какое же?»

«Желание подчинить себе все, чем нельзя обладать».

Обмениваясь через меня своими мыслями и при этом ни разу не встречаясь, эти две женщины прониклись друг к другу симпатией. И сейчас Лотта не упрямилась, как делала всегда, заподозрив хоть малейшее возражение.

«Это Маргарета сказала?» — спросила она, посмеиваясь.

Я подтвердил. На некоторое время она задумалась и наконец медленно кивнула.

«В чем-то она права, — с трудом согласилась Лотта. — Мышление возникает из желания найти смысл, утешение, власть, убежать от отчаяния и страшного духовного одиночества, все это так».

Поскольку накануне я выписал для нее фразы из Дюрас, Боулс и Брюгген, которых она считала самыми одинокими авторами, когда-либо ею прочитанными, я спросил ее, имела ли она в виду писательское одиночество.

«Нет, — ответила она. — Одинок каждый человек, но писатели пишут об этом, таким образом

немного облегчая одиночество других. Сами же они расплачиваются за это порой еще большим одиночеством, чем те, кому они сострадают».

«Потому что сострадание делает нас непохожими на других».

«По-моему, ты окончательно во всем разобрался, Макс», — сказала она с усталой усмешкой.

Возникнув в области плеч и рук, через несколько месяцев боль поразила мышцы таза и ног. К счастью, у нее оставалось еще немного сил в правой руке, которую она так часто проверяла на мне и которая была ей необходима, чтобы открывать двери, управлять коляской и сохранять доступ к своему наследию. Этой рукой она обхватывала меня за шею, когда я поднимал ее утром с кровати и укладывал вечером спать. Этой рукой она гладила по ночам мое лицо.

«Хочешь со мной в постель, Макс?» — спросила она однажды. И я сказал тогда «да», потому что хотел этого. И добавил, что очень давно не спал с женщинами.

«Тогда обращайся со мной, как с мужчиной», — успокоила она меня. Но это было излишне, потому что Лотту можно было любить только как женщину. В первую нашу ночь она плакала, а я плакал вместе с ней в последнюю, когда она сказала, что ее разум еще полон желания, но тело уже ничего не чувствует. Это было за несколько недель до ее смерти, и я сказал ей тогда, что эти два года, когда я мог ее любить, были самым счастливым временем в моей жизни. Я напомнил ей ее слова из нашей первой ночи о том, что она боится сделать меня несчастным, что может дать

мне лишь очень короткое будущее и что любовь требует вечности.

«Будущее длиною в один день — тоже будущее», — сказал я ей тогда.

Чтобы вывести ее из состояния надвигающейся летаргии или заставить на время забыть о непрекращающихся болях, Лотту нужно было возвратить к работе над романом. После стольких лет с нею рядом я читал ее лицо, как книгу, и если видел, что она стискивает зубы, то притворялся, будто не замечаю, как ей больно, и делал вид, что еще не до конца разобрался в собранном нами литературном материале и не совсем понял, как те или иные его части будут вписываться в роман. Я рисковал вызвать ее раздражение, ведь она не выносила медлительности, но поскольку в своей злости она была такой живой, то я шел на это и радовался, когда мой план удавался и я получал свежую порцию ее колкостей. Иногда нужно было лишь подлить масла в огонь, когда в процессе чтения в ней закипало раздражение.

«Еще одного врага обнаружила?» — спрашивал я тогда.

«Естественно, — отвечала она, и я видел, как внутри нее завязывалась борьба между искушением поддаться усталости и отделаться от меня, отослав к ключевому слову (смотри на «*раздражение*», например), и желанием выплеснуть наружу свое негодование. — Снова какой-то невежда, который кичится своей так называемой

честностью и, обрати внимание, с гордостью утверждает, что, кроме него, никто, конечно, не смог одолеть «Человека без свойств» Музиля, что шедевр Пруста нагоняет сон, а «Улисса» вообще читать невозможно. Презрение и ярость ослепляют мне глаза, но одновременно это кажется мне забавным, потому как невольно является testimonium paupertatis[24]. От глупости не застрахован никто, но гордиться своей глупостью — это уже слишком».

«Должен признаться, я тоже не смог до конца прочитать “Улисса”».

«Да, но ты не посвящаешь этому целую колонку в газете и не заявляешь с гордостью на весь мир об этой своей неспособности. Литературный критик, не читавший Пруста, Музиля и Джойса, подобен физику, который не знаком с Ньютоном, потому что тот ему не нравится».

«Сколько тебе лет? Что ты до сих пор так горячишься по поводу обычной человеческой глупости».

«Возраст тут ни при чем, Макс. Меня раздражает не глупость pur sang[25] — ее можно обойти.

---

[24] Примечания: 24
Свидетельством о бедности (*лат.*).

[25] Примечания: 25
Зд.: в чистом виде (*фр.*).

Не обязательно общаться с человеком, который тебе неприятен. Но меня возмущает глупость, от которой невозможно спрятаться, потому что она слишком глубоко проникла в прессу. Меня возмущает глупость, получившая в руки перо, чтобы формировать общественное сознание. От этого мне становится жутко и страшно».

«Во гневе вы такая красивая».

«О, Макс, пожалуйста, — застонала она, — такое можно услышать только в самых пошлых фильмах».

О своей смерти она подробно беседовала со мной, братьями и врачом. Мне она сказала, что ее смерть можно сравнить с наследием, которое она никому не может завещать.

«Я никому не могу оставить свою смерть».

Когда боль стала нестерпимой и врач начал колоть ей морфий, она перестала есть. Свою первую инъекцию она получила за три недели до смерти. Она говорила, что в этом что-то есть — умирать в конце двадцатого века. С того момента я не отходил от ее постели и оставлял ее лишь тогда, когда к ней приходили братья или друзья. С Маргаретой я в то время общался лишь по телефону.

«Она умирает», — сказал я, позвонив ей после первой инъекции. На другом конце провода было слышно, как Маргарета несколько раз с усилием сглотнула.

«Это ужасно, мой мальчик», — сказала она надломленным голосом.

«Ты хорошо представляешь себе книгу?» — несколько раз озабоченно спрашивала она, когда я сидел возле ее кровати.

«Да», — отвечал я.

«Старайся избегать прилагательных», — говорила она и снова засыпала.

«Знаешь, что действительно изменилось в ходе моей жизни?» — спрашивала она.

«Нет».

«Я утратила любовь к тайне». Она выглядела уставшей. Глаза были полузакрыты.

«Освободись от своих тайн, Макс, — сказала она слабым голосом. — Твои тайны делают тебя несчастным».

«Как ты?» — спрашивал я.

«Ужасно, но в то же время абсолютно нормально, — отвечала она. — Смерть всегда жила во мне».

Я ухмыльнулся, и ей это было приятно.

«Самое страшное — это сознание того, сколько боли я причиню всем вам: тебе и братьям, — прошептала она. — После смерти ТТ я жила, как на шпагате, разрываясь между жизнью с тем, кого уже нет, и жизнью, которая шла своим чередом. Жизнью, где я ходила, писала, говорила, присутствовала и где никак не могла или не хотела себе уяснить, что существовала еще и другая, интимная жизнь. Но в моем сердце была дыра, куда проваливалась половина всего, что со мной происходило. В голове застряла строчка из песни, которую пела Глэдис Найт с группой «Пипс»: «I'd rather live in his world, than live without him in mine»[26].

«Ты все-таки втайне надеешься, что снова его увидишь?»

«Нет, — сказала она, — но я снова буду с ним на равных».

---

[26] Примечания: 26

Я лучше буду жить в его мире, чем без него в моем (*англ.*).

Она умерла на рассвете. Еще час я просидел с ней наедине, перед тем как позвонить доктору, братьям и Акселю.

«Жду тебя в книге», — были ее последние слова. В тот вечер, когда все разошлись, я погрузился в ее наследие, чтобы вновь встретиться с ней. И я точно знал, где ее найти.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

По мнению нидерландской литературной критики, Конни Палмен принадлежит к тем писателям нового поколения, которые изучали философию и литературу в университетах и теперь пишут философски ориентированную прозу. Жанр такого произведения трудно определить, сюжет его нельзя пересказать несколькими словами. Но это интересно читать, об этом интересно размышлять.

Неудивительно, что героиней ее первого романа «Законы» (1992) стала студентка философского факультета, которая слушает лекции о том, чтО должно определять поведение человека. Роман стал бестселлером — только в Нидерландах он разошелся тиражом более 300 000 экземпляров — и был переведен на многие языки мира, в том числе и на русский (главы печатались в журнале «Иностранная литература»). Вскоре он был отмечен литературной премией «Лучший европейский роман».

Героинями второго романа К.Палмен «Дружба» (1995) стали две подруги, которые и внешне, и

по характеру как бы зеркально отражают друг друга. Автор размышляет о связях между умом и душой, словом и действием, дружбой и независимостью.

Вскоре после этого в жизни самой К.Палмен происходит трагедия — погибает близкий и любимый человек. Инициалы его имени становятся названием ее следующего романа — «L.M.» (1998). Это трогательное повествование, приоткрывающее другую сторону любви — боль, отчаяние и беспомощность.

«Наследие» (1999) — последнее произведение писательницы. Нидерландская пресса писала об этой повести: «Конни Палмен умеет передать, сколь высоко назначение писателя. Более того, ее творчество отвечает этому высокому назначению».

Любящее сердце вечно голодно...
Сущность любви в том,
что ее всегда не хватает.

Конни Палмен

В «Наследии» речь идет и о книгах самой Конни Палмен, и обо всех хороших книгах вообще. Неповторимая, глубокая, проникновенная повесть.

«Хаарлемс Дахблад»

Конни Палмен (р. 1955) — нидерландская писательница нового поколения. Она дебютировала в 1992 г. романом «Законы», который принес ей литературную премию «Лучший европейский роман». Повесть «Наследие» (1999) — последнее произведение Конни Палмен.

Любящее сердце вечно голодно… Сущность любви в том, что ее всегда не хватает.

Конни Палмен

В «Наследии» речь идет и о книгах самой Конни Палмен, и обо всех хороших книгах вообще. Неповторимая, глубокая, проникновенная повесть.

«Хаарлемс Дахблад»

Конни Палмен (р. 1955) — нидерландская писательница нового поколения. Она дебютировала в 1992 г. романом «Законы», который принес ей литературную премию «Лучший европейский роман». Повесть «Наследие» (1999) — последнее произведение Конни Палмен.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.